

Паскаль Юрий Иванович

Составитель: Василий Ханевич

СОДЕРЖАНИЕ:

- I. Город. Голод (отрывок из повести)
- II. Мой папа - враг народа (автобиографическая сказка)
- III. Из середины века (рассказы)
- IV. Жучок (сентиментальные воспоминания о маленькой собачке)

Газетные статьи

1. Исповедь стрелочника.
2. Перестройке нужен комсомол.
3. Имя, музей и памятник.
4. Зачем нужен «Мемориал».
5. Расстрелянный идеал.
6. Слово к евреям.
7. Они были жертвами произвола.
8. Долгая дорога надежды.
9. Что осталось за кадром.
10. Технология обмана.
11. Патриотизм – не верноподданничество.

Из творчества Василя Стуса

1. «Беда так тяжело пишет мною, так тяжело мною пишет боль»
2. «Вокруг меня могилы душ»

ГОРОД. ГОЛОД (отрывок из повести)

В этом году Украина отмечает самый скорбный свой юбилей - 60-летие Большого Голодомора, искусственного голода, унесшего от 7 до 11 (по разным оценкам) миллионов крестьянских жизней

Дни проходили, словно в заморочливом сне. Надо было побольше лежать, поменьше тратить сил и не думать о еде, а это всего труднее. Кружилась голова и щемило в пустом желудке, и время тянулось невероятно медленно. Иван был спокоен и туп, терпеливо ждал вечерней ложки каши из неочищенного проса и кусочка буряка. Просо и буряк, да еще немного подсолнуховых семечек - это было все, что оставалось на троих. Они уже не прятали скудные припасы — сельсоветчики и активисты оставили их в покое — то ли сами голодали, то ли убежали из голодного села. Не заглядывали в хату даже соседи, порой из их хат доносился человеческий вой, а ведь раньше Иван думал, что воют только волки да собаки. Давно сварили и съели послушного, смышленного Серка, а кошка в тот же день исчезла — то ли почуяла, что её ждет, то ли где-то околела или была съедена чужими. Иногда Ивану удавалось петлей поймать воробья, он съедал его живьем, с костями, ни с кем не делиась. Потом не стало и воробьев, даже мыши исчезли. Отец умер еще осенью, когда в доме была картошка и немного зерна. Не сказать, что от голода умер, а болел он и мог бы, наверное, вылечиться, но негде, не у кого было лечиться, негде и не на что купить

лекарство. Потом умер маленький братик, когда картошку и остатки хлеба вымели комсомольцы, но оставалось ещё вволю хорошо припрятанных буряков и их съедали по два-три за раз. А братику нужно было молоко, корову же продали задолго до этого, когда в третий раз потребовал сельсовет один и тот же налог. Иван остался с мамой и сестренкой восьми лет. Тем уже было трудно двигаться и хату топили редко, да и солома кончалась. Лежали втроем на печи, укрывшись всем, что было в хате. Мать лежала тихо, иногда охала. Разговаривали мало и редко. Хуже всего, что сестренка постоянно голосила: «Ой, истоньки хочу!» Ивану это становилось невтерпеж и он давал сестренке подзатыльник, отчего она кричала еще громче, одурев от голода. На что же они надеялись? Что им все-таки выдадут хлеб? Глупо! Может быть, надо было за раз съесть все, что осталось, и лежать до тех пор, пока не вынесут...

Словно в тумане видит Иван, как заходит в хату волоча ноги, страшный опухший сосед Василь Заглоба:

- Доброе утро, соседи, Живые ещё? А ну, Иван, встань — посмотрю на тебя.

- Зачим? — неохотно, лениво спрашивает Иван.

- Встань, не бойся — не съем.

Иван неторопливо слез с печи, стал перед соседом .

- Не опух еще — можешь выжить. Послушай, что я скажу... Эй, Оксана!- кликнул он в дверь, и в хату вошла девочка: на год меньше Ивана, но тоненькая, как спичка, тщедушная и, казалось, прозрачная.

- Вот что я надумал. Нам тут всем помирать. Еще сколько-то протянем, у меня макуха осталась и чем меньше ртов будет, тем дольше проживем. А вы с Оксаной уже большие и вам с нами не пристало голодать. Вам бы до какого-нибудь города добраться. Лучше до Харькова. Там люди каждый день хлеб едят. И вы что-нибудь выпросите - найдутся добрые души. Самую малость соберем вам в дорогу, а дальше - как вам повезет. Да не плачь ты, дурочка, - обратился он к Оксане. — Так будет лучше. Только не стесняйтесь и не бойтесь - просите у всех подряд, кто-нибудь да подаст. А может быть, в детдом вас заберут, тогда совсем хорошо будет...

- Иди, Ивась. — тихо и спокойно сказала мама, ничто еще не предвещало голодного безумия. Потом, когда Иван вернулся в Джуривку, он узнал... Не сразу узнал и не следовало ему это узнавать, но рассказали добрые люди. Весной, когда открывали выморочные хаты, в ихней обнаружили два разложившихся трупа. У маленького трупа были вырезаны ягодицы, а на столе лежали куски сгнившей вареной человечины. Иван не хотел думать, что мама убила сестренку, он нашел другое объяснение: она поела мертвечину и отравилась трупным ядом. Так думать было все-таки легче...

Пару часов спустя Иван взял за руку все еще плачущую Оксанку и повел её клемивским шляхом на север, к железнодорожной станции Пивни. Когда они вышли за село, Иван утер Оксане своим рукавом глаза и нос и сказал: — Ну, хватит плакать. Доберемся до Харькова. А там люди каждый день хлеб едят. Будешь мне за сестру, со мной не про падешь.

И, удивительное дело, Оксана вмиг перестала плакать и тихо, послушно пошла за Иваном. А Иван тогда словно пробудился от долгого отупляющего сна и с этого момента помнил все, до последних мелочей. К концу дня они добрались до Пивней, но на станцию их не пустили. Милиция и какие-то парни, надо думать, комсомольцы, отгоняли прочь таких же голодных, ободранных детей и взрослых. «Сюда нельзя, идите домой», — говорили они. Кто-то спросил: «Подыхать?». «В Советском Союзе не подышают», — ответили ему. Иван подумал: «А разве мы не в Советском Союзе?» Иван с Оксанкой долго ходили по поселку, наконец, залезли в какой-то пустующий сарай и доели остатки своих припасов. Мне холодно», - пожаловалась Оксана. Иван распахнул свои

драный колушок и привлек к себе девочку, та доверчиво прижалась к хлопцу, и им стало тепло друг от друга. Ивану было невыносимо больно: он вспомнил подзатыльники, которые давал своей голодной сестренке, воробьев, которых съедал сам и никогда не приносил ей. «Дурной я был. — сказал сам себе Иван. — Больше таким не буду. Никогда не ударю Оксанку, даже не закричу никогда. И первый кусок всегда ей буду отдавать». Больно было и за Оксанку, такую тоненькую и слабенькую.

— Оксанка! Сестричка! — шепнул он тихо.

— Ивасик! — впервые улынулась Оксанка, засыпая. Все-таки везучим хлопцем был Иван. На другой день они вышли к железной дороге вдаль от станции. Мимо прошел пассажирский поезд, и кто-то бросил им из вагона большой кусок хлеба — такого белого они сроду, да и позже, в Харькове, не видели. А ведь кто-то где-то ел такой хлеб, они же несколько месяцев — никакого в руках не держали. Половину куска Иван спрятал в торбу, другую разломил, большую часть отдал Оксане и тут же забрал обратно, сказал:

— Не набрасывайся, как собака. Ешь маленькими кусочками...

Он набрал в старую кружку, прихваченную из дому талой воды, растер кусок в воду, хоть нестерпимо хотелось вгрызться в него сразу всеми зубами. Потом, вспоминая, он сам себе удивлялся.

— Если долго не ела, то всегда делай так, как я.—говорил он Оксане.—А то кишки себе испортишь и сразу умрешь. Еще раз посчастливилось Ивану и Оксане вечером. Когда стемнело, они украдкой пробрались на станцию и влезли в первый попавшийся открытый товарный вагон, не зная, куда он поедет. Иван действовал смело, он не раз бывал на станции раньше. Скоро их заметил охранник, но не прогнал, велел лишь сидеть тихо, не высовываться, даже дал детям по вареной картофелине. А спустя двое суток высадил их из вагона. «Дальше вам нельзя. Пешком дойдете. Вон Харьков». Он показал видную вдаль гору с несуразными огромными строениями, злоеце скалящими зубы окна. Тяжко было обо всем этом вспоминать. В голове вертелись вопросы: а что, если бы?.. Если бы они не проникли на станцию, если бы их прогнали из вагона, если бы вагон неделю стоял в Пивнях, если бы поезд не поехал прямо в Харьков, а долго блуждал по голодной сельской местности? Но все сложилось наилучшим образом и они уже в Харькове, где люди каждый день хлеб едят. Так Иван впервые оказался в большом городе. До этого лишь понаслышке знал он о нем — пугающем и ненавистном страшилище. Город, где нерасторопных крестьян обворовывают, дураят и грабят. Чье ненасытное чрево пожирает все плоды трудов хлебороба. Город, где люди не пахут, не сеют, не жнут, но каждый день едят хлеб. Иван опять взял за руку Оксанку и повел ее навстречу оскаленным гигантам, в это страшное скопище людей. Тихо и покорно шла рядом с ним Оксана. Обоим было голодно до головокружения. Только голодное отупение помогло им пережить потрясение первой встречи с городом. А впрочем, знакомство происходило постепенно. Поначалу шли они мимо белых мазанок, совсем таких, как в Джуривке и даже более убогих. Но чем дальше, тем добротнее становились хаты. солому и тростник на крышах постепенно сменили черепица и железо. Когда Иван с Оксаной прошли через захлампенный пустырь, они оказались на улице, мощеной булыжником, мазанки сменились одноэтажными кирпичными домами. Потом появились двухэтажные строения наподобие армянской хаты на джуривской слободке. Не в привычку были плотные высокие заборы. По улице все больше проезжало автомобилей. чаще всего грузовых. Такого количества машин они не видели в Джуривке за всю свою жизнь. Чем ближе к центру города, тем больше лязга, скрежета, рева и до ужаса много людей. Вначале Иван и Оксана по сельскому обычаю робко здоровались с прохожими, пока еще редкими. На них не

обращали внимания, смотрели удивленно, как на придурковатых, или неприязненно, с подозрением. А одна старуха ответила: «Идите, идите, мне нечего вам дать», хотя они ничего у нее не просили. Потом людей стало встречаться столько, что здороваться со всеми уже не было возможности. Внезапно пыльные мощные улицы вывели их на широкий проспект с высоченными домами, дребезжащими трамваями, со сплошной людской толпой. Вот когда стало по-настоящему страшно. Слыхал Иван раньше, что есть в Харькове дома в пять и даже в восемь этажей. Думалось: стоит хата на хате, восемь хат одна над другой, тесно ведь в городе. А городские дома совсем не такие — огромные каменные глыбы высотой с Джуриковскую гору, длиною с небольшую Джуриковскую улицу. В одном таком доме вся Джуриковка поместилась бы. Ивану расхотелось жить. Та отупленная решимость выжить, которая привела его в город, где люди каждый день хлеб едят, вдруг исчезла. Хотелось забиться куда-нибудь в уголок под забор, подобно издыхающему псу, и лежать, лежать. Как лежали перед смертью отец и маленький братик. Как лежат сейчас мать и сестренка. Кто знает, может, так и сделал бы Иван, если бы он был один. Но рядом с ним, пошатываясь от усталости и голода, тихо брела Оксанка, которую он уже назвал своей сестричкой. Как же она без него? Определенно погибнет, как погиб маленький братик и, наверное, то же будет с родной сестренкой. Этого Иван не мог допустить. Теперь, в городе, где люди каждый день хлеб едят, он должен этот хлеб добыть.

Как голодные звереныши остановились они у витрины магазина, засмотрелись на колбасы и сыры, на огромные куски масла, от вида которых неистово гудело в животе и неудержимо текли слюни. Кто-то сказал им: «Глупые кугуты! Это же муляж». Иван еще не знал, кто такие кугуты, но понял, что обращаются к ним, не знал, что такое муляж, но догадался, что обман. А у магазина стояла огромная очередь. Люди, пробиравшиеся сквозь толпу выносили темный хлеб и что-то завернутое в масляную бумагу. Иван узнал потом, что это легендарная хамса. «По долинам, по торгсинам есть и хлеб и колбаса, А в рабочем магазине только дохлая хамса».

У людей в руках был хлеб и эти люди каждый день ели хлеб — воплощение прекрасной заветной мечты, предел желаний и двигатель жизни. Он должен был добыть его для Оксанки. Но просить на улице еще не решался и отчаянно потащил Оксану в подъезд большого дома, стал стучать в двери квартир.

— Наша мать померла, мы с сестрой три дни ничего не йили. — говорил за обоих Иван. От четырнадцати дверей их прогнали.

- Самим нечего есть.

— Много вас тут ходит

— Всех не накормишь.

И даже: — Работать надо,

«Разве ж мы не работали? — думал Иван, — И разве не наш хлеб тут едят? Тот, который у нас осенью отобрали. В городе ведь хлеб не растет. Мы хлеб сеяли и жали, молотили и веяли, почему же не мы его едим, а горожане?» Эти горожане получали каждый день по восемьсот грамм (далеко не все — этого Иван еще не знал). Зачем так много? Если бы в Джуриковке каждому давали по четыреста, по триста грамм, люди не умирали бы с голоду. Где-то в пятнадцатой по счету квартире немолодая уже хозяйка вынесла им на лестницу по толстому ломтю хлеба, намазанному чем-то белым, похожим на масло, а потом еще по стакану молока и долго молча смотрела, как они едят и запивают. В глазах ее блестели слезы. И понял Иван: нет, не умрут они с Оксанкой от голодухи. Не умрут, ведь это глупо: умереть с голоду в городе, где люди каждый день хлеб едят. В таком большом городе за день можно обойти не пятнадцать, а сто пятьдесят, тысячу квартир и неужто не найдется хоть одна такая добрая женщина? Можно собрать много кусков, высушить (где-Иван не подумал) и отвезти в Джуриковку,

чтобы спасти мать, сестренку, дядьку Василия, его жену и меньшую дочку. Выход показался таким простым. Почему же он, дурень, не уехал в Харьков раньше? Действительность оказалась намного сложнее и жестче. Едва Иван с Оксаной вышли из подъезда, их окружила целая толпа маленьких голодранцев с перепачканными лицами, в лохмотьях, но бойких, подвижных и злых...

— У-у, суки!

— Что, насобирали? Гоните сюда!

— Почему, падлы, в наш дом ходите?

Иван был больше и сильнее любого из беспризорников, но тех было слишком много.

— Чого вам треба?

Стая загоготала, заулюлюкала, закривлялась и вроде бы обрадовалась:

— Кугуты! Кугуты! К ним протянулось множество рук и ручонок, которые сразу выхватили собранные куски, сорвали картуз с Ивана и платок с Оксаны. Иван и Оксана едва вырвались из этих цепких рук и побежали прочь вдоль улицы. Вдогонку неслись гогот угрозы и ругань

— Кугуты! Кугуты!

Вот что было самым страшным. Не раздраженные хозяева квартир, не дворники, метлами отгонявшие беспризорников от домов, не дежурные уборщицы, преграждавшие им путь в подъезды, и не милиция, которая лишь летом стала обращать внимание на голодающих детей. Самым ужасным был неписанный устав беспризорников. Скоро Иван разобрался, что среди них есть

шпана и есть кугуты. Шпана — те же сельские мальчишки и девчонки (большей частью пацаны: девчонки либо погибали, либо находили какое-нибудь пристанище), но уже освоившиеся, сгруппированные, опытные, наученные русскому языку, то есть прибалтнённой харьковской речи. Кугуты — вновь прибывшие, неуклюжие, нерасторопные, ошеломленные встречей с городом. Голод и травля шпаны в конец отупляли кугутов, делали их впрямь придурковатыми. Ккугуты умирали от голода посреди города, где люди каждый день ели хлеб. Шпана их обирала, оставляла без последних лохмотьев и без собранных с трудом кусков хлеба, издевалась над кугутами, как только умела, насилывала кугуток. Тот из кугутов, кто все же выживал, переходил в конце концов в шпану и точно так же изголялся над вновь прибывшими.

Становилось все теплее, приближалось лето, в городе начали продавать коммерческий хлеб. Взрослые крестьяне, пробравшиеся в Харьков сквозь милицейский кордон, становились в очередь, покупали буханку и, хлеба за последние свои деньги и, проглотив кусочек, корчились и умирали тут же, рядом с магазином, у всех на глазах...

Но беспризорникам, освоившимся и приспособившимся, жить стало легче. Чаше перепадал им хлеб и другая пища, кое-что можно было найти в свежих отбросах на помойках. Им, конечно, угрожала дизентерия, но об этом беспризорники не думали, пока не истекали

кровавым поносом. Иван остался кугутом, но вопреки жестким законам среды выжил и даже окреп. Отчаянно отбивал у шпаны каждый кусок и лучший оставлял Оксане. Тихонькая белявенькая Оксанка молча шла за ним как тень, боясь на минутку отстать,

потерять Ивана из виду. Было чего бояться: к ней постепенно подбивались пацаны постарше из шпаны. Но у Ивана были крепкие кулаки, и шпана, уважавшая только силу, отступала и в конце концов примирилась с ним. Его так и называли: «кугут, который здорово дерется», не любили, как «шакала», но побаивались.

Ночевали, где придется: на стройках, в недостроенных и заброшенных зданиях, на чердаках и в подвалах больших домов, украдкой забирались в трамвайное депо и спали в вагоне. Домашняя одежда давно изорвалась или была отобрана шпаной. Иван где-то находил или выпрашивал лохмотья. Они навешивали их на себя, укрывались ими в прохладные ночи. Крепко прижимались друг

к дружке, особенно по утрам. Оксана уже не была такой бестелесной и прозрачной, как в Джуривке. Даже щечки ее порозовели сквозь постоянную грязь на лице. Раскраснелись припухшие губки. Слегка выступающая нижняя губа, носик, и широко, каталось, всегда удивленно раскрытые глаза делали Оксану миловидной, не зря к ней подбивались большие пацаны из шпаны. «Оксанка! Сестричка моя!» — шептал иногда Иван, оглядываясь, чтобы никто не услышал позорные нежности. Когда она дрожала, замерзнув, она вообще, больше мерзла, чем Иван, — ему казалось, что это — от страха.

— Чего ты, боишься, Оксанка?

— Боюсь, — шептала она, — боюсь тебя, Ивасик, потерять.

— Ну, что ты!

— Да, боюсь. Что я без тебя буду делать?

— Глупости! — возражал Иван. — Чего это ты вдруг меня потеряешь? До лета проживем и домой вернемся. И никогда с тобой не разлучимся. Когда вырастем, поженимся и всегда будем вместе. Хочешь, чтобы так было?

— Хочу, Ивасик...

В такие минуты Ивану приходилось отодвигаться от нее. Он стыдился и боялся себя.

— Что ты, Ивасик? — спрашивала Оксана.

— Ничего, — бурчал он. — Спи.

Иван потерял Оксану, долго искал и не нашел ее. Она исчезла в плотной толпе страшилищагорода, тихонькая, боязливая сельская дивчинка. В Джуривку Иван вернулся один. Не было ни матери с сестренкой, ни дядьки Василия с женой и меньшей дочкой. Хаты

стояли пустые, двери были заколочены досками. Иван выломал доску и поселился в родной хате, откуда еще не выветрился трупный запах. Таких хат было много на Кулябковке, узкой, кривой улочке, карабкающейся на гору. Но не вся Джуривка вымерла. Люди шли работать в поле, понурые, молчаливые, не глядя друг другу в глаза, словно стыдясь тому, что выжили...

А потом... потом стало забываться. Иван работал наравне со взрослыми, позже его приставили к больной скотине и дали возможность доучиться в школе. Много помог ему Степан Ховрах, тогда еще председатель колхоза. И позже, в райкоме он не забыл об Иване. Дурным сном казался бы тридцать третий год, если бы не пустота в хате и в сердце. Если бы не боль по своим. А больше всего — по Оксане. Что же случилось с Оксанкой? О том не спрашивайте. Не лезьте в душу!

МОЙ ПАПА - ВРАГ НАРОДА

(Автобиографическая сказка)

Автобиографическая - потому что - о себе. Сказка - потому, что жизнь моего поколения прошла в мире фантомов. Конечно, не всем довелось пройти круги дантова ада в не каждого вовлекла в себя карусель кафкианской

бюрократиады, и лишь очень немногие постигали гофмановскую чертовщину этого мира. Но едва ли не каждый с самого рождения окунался в липкую патоку слащавой сказки о самом распрекрасном государстве Эсэсэсэр, о неслыханно мудром руководстве, о невиданно счастливом детстве, которое даровал дорогой, горячо любимый вождь ТОВАРИЦСТАЛИН. В этот сказочный мир постоянно врываются фантазмагорически жестокие реалии, но очень уж приторной была патока; её фальшивая сладость, вопреки пословице, забивала изрядную долю дегтя

В СКАЗОЧНОМ царстве, в некотором государстве под названием Эсэсэсэр, в большом городе, на восьмом этаже, нового дома жил-был маленький мальчик вместе с мамой, папой и бабушкой. Он все видел и все слышал, и все-все понимал, потому что было ему уже совсем без малого полных восемь лет. Знал тот мальчик, что живет он в самой лучшей из всех стран, в единственном на всем. Земном шаре советском социалистическом государстве. Все другие страны — буржуазные и к тому же капиталистические. Там очень плохо, потому что правят противные толстопузые буржуи. Мальчик видел буржуев в кино и на картинках в «Мурзилке», и сам рисовал маленьких человечков-с огромными животами. Они только и делают, что обжираются, курят дорогие большие сигары и загибают деньга. Еще они заставляют работать на себя рабочих и крестьян. Мальчик уже знал это слово, знал, что за границей человек эксплуатирует человека, а у нас совсем наоборот. И, чтобы рабочие и крестьяне не восстали против буржуев, злые усатые жандармы больно бьют их дубинками и сажают в тюрьму. А еще разгоняют демонстрации. Мальчик видел демонстрации — это очень красиво и весело, когда люди идут по улице с красными флагами и кричат: «Да здравствует ТОВАРИЦСТАЛИН!» У нас никто демонстрации не разгоняет, а буржуи запрещают их. Дети там совсем никогда не едят конфеты и вкусное мороженое, у них нет заводных игрушек и не бывает новогодней елки, которую мальчик с нетерпением ждет сейчас, на исходе месяца декабря. Так же плохо было когда-то, при царе, у нас. Но двадцать лет тому назад весь народ под руководством Ленина и ТОВАРИЦСТАЛИНА восстал сделал революцию, прогнал буржуев и разгромил белых генералов. Теперь все живут свободно и счастливо, взрослые с песнями идут на работу и с работы, а маленькие дети в выходные дни летом едят вкусное мороженое и плачут лишь тогда, когда их за шалости шлепают по попе. Об этом мальчик каждый день слышит по радио, а радио всегда правду говорит. Страшно даже подумать, что было бы с мальчиком, если бы он родился не в Эсэсэсэр, а в какой-нибудь капиталистической стране или же до революции. Это же надо было так удачно родиться!

Мальчик знал, что за все это надо благодарить партию большевиков, советское правительство и красных вождей, из которых самый-самый-самый главный — дорогой, горячо любимый ТОВАРИЦСТАЛИН. Есть и другие главные, но не самые главные. Вот Клим Ворошилов, красный маршал и нарком-он всех фашистов разобьет, потому что очень метко стреляет и даже есть такой значок «Ворошиловский стрелок». А другой красный маршал - Буденный, у него большие пышные усы и он очень красиво сидит на своем боевом коне. Когда надо будет, он своей острой шашкой всех врагов порубает. Есть еще добрый дедушка Калинин с бородкой и нарком Ежов, который на плакате своими ежовыми рукавицами давит подлую гадюку с ядовитым жалом....Больше всех дети любят самого главного вождя ТОВАРИЦСТАЛИНА. Мальчик никогда не отвечает на дурацкий вопрос, который так любят задавать взрослые: «Кого ты больше любишь - папу или маму?» Но он слышал, как другие дети отвечают:

«Больше всех я люблю ТОВАРИЦСТАЛИНА, а потом уже папу и маму одинаково».

И еще мальчик знал, что все заграничные буржуа, хотят напасть на Ээсэсэр, поделить нашу страну между собой, заставить людей на себя работать, отобрать у детей конфеты, вкусное мороженое, заводные игрушки и новогоднюю елку. А внутри страны тоже очень много врагов и у них очень много разных названий, и все время обнаруживаются новые и новые. Они помогают заграничным буржуям, вредят, двурушничают, устраивают аварии на заводах и железнодорожные катастрофы. Это они убили Кирова и хотят убить самого ТОВАРИЦСТАЛИНА, которого так любят все дети.

Мальчик помнил, как летом во дворе он повздорил с другим мальчишкой из-за... неважно, из-за чего. И такой вот состоялся между ними разговор:

- Ты — дурак!
- А ты... Ты знаешь, кто ты? Ты — троцкист!
- А ты -- зиновьевец!
- ты — каменевец!
- А ты — вредитель!
- А ты — шпион!
- А ты— диверсант!
- А ты — враг народа!
- А ты — изменник Родины!
- А ты — троцкист!
- Чур, троцкист уже был.

Потом к ним подбежали взрослые тетеньки: «Не смейте такие слова говорить!» Почему же не сметь, почему не говорить? Ведь радио с утра до вечера говорит такие слова...

А весной папа и мама слушали радио, когда была передача о суде над Пятаковым, Радеком и другими презренными врагами. Кто-то из них—папа или мама — сказал: «Надо какую-нибудь особенную казнь для них народа, продались заграничным буржуям за большие деньги. Это всем понятно. Потому что у капиталистов денег много. А во-вторых, никаких убеждений у врагов нет, не бывает таких убеждений, чтобы против ТОВАРИЦСТАЛИНА... Они же сами на суде все говорят, что ТОВАРИЦСТАЛИН прав и что он хороший. И не только где-нибудь там, в Москве, а в нашем доме, даже в нашем подъезде жили враги народа и троцкисты. Вовкиного папу с шестого этажа еще летом арестовали. А потом самого Вовку с мамой и бабушкой выселили из нашего дома и они уехали куда-то на окраину. Еще арестовали папу Вернера с третьего этажа. Все думали, что папа Вернера— немецкий коммунист, а оказалось, что он — немецкий шпион. И Вернера с его мамой отправили обратно в Германию к ихнему самому главному фашисту Гитлеру. Обо всем этом папа с мамой разговаривали тихо, чтобы мальчик не услышал. Но он слышал, потому что папа с мамой думали, что мальчик спит, а он не спал, а тихонько лежал с закрытыми глазами. «Слишком много людей арестовывают, неужели все они — враги?» «Не станут же зря сажать людей».

«Но кого сажают! Кто бы мог подумать?» «Если арестовали, значит, в чем-то виноват. А если произошла ошибка — разберутся и выпустят». Однако не слышно было, чтобы кого-нибудь отпустили. Это значит, что ошибок не было.

* * *

Да, мальчик все понимал, потому что было ему уже совсем без малого полных восемь лет. Но вокруг него было очень много непонятного. По радио всегда говорят и в «Мурзилке» постоянно пишут, что в нашей стране нет бедных и богатых, все люди зажиточные и счастливые. А во дворе мальчишки почему-то

делятся на бедных и богатых. Нашего мальчика называют богатым. Это потому, что он живет на восьмом этаже, а не в подвале, одет в новенькое, а не в обноски и может сказать «я не хочу кушать», когда его в окошко зовут домой обедать. Если богатый мальчик выходит во двор с яблоком или пирожком, то бедные тут же подбегают к нему и начинают «шакалить»: «Ну, не будь жлобом, дай разок куснуть». А кто из них постарше, тот может отобрать и яблоко, и пирожок. Наш мальчик никогда не голодал. Голодать — это значит очень хотеть есть. Бывает так, что мальчику очень хочется поесть... что-нибудь вкусненькое. Но он ненавидит кислый борщ, тушеную капусту и манную кашу. Нет, мальчик никогда не голодал. Так и радио говорит: в сов. стране никто не голодает, это — выдумки врагов. Голодают там, где всем распоряжаются и все съедают прожорливые толстые буржуи... Но почему-то слова «голод», «голодный», «голодать» постоянно носятся вокруг. А раньше это слово слышалось еще чаще. Раньше — это когда мальчик с мамой и папой (а бабушка появилась позже) жили не в двух комнатах в большом доме, на восьмом этаже, а в маленькой барачной комнатке. Там, в бараке, не было газа, и не было водопровода, и не было радио — поэтому мальчик еще не знал... то есть, ему, конечно, говорили папа и мама, но он еще не задумывался о том, что живет в самой лучшей на всем земном шаре стране под названием Эсэсэсэр. Это потому, что у них еще не было радио, а сам мальчик был еще совсем маленький. Он не понимал тогда, почему взрослые ругали детишек, когда те гуськом маршировали в пыльном узком дворике и пели: «По долинам, по торгсинам есть и хлеб, и колбаса, а в рабочем магазине только дохлая хамса». Теперь-то он понимает, что эти слова к хорошей советской песне придумали враги и диверсанты. По правде говоря, он до сих пор не понимает, что такое торгсин, хотя папа уже несколько раз ему объяснял.

Хлеб тогда не просто продавали, кому сколько надо, а выдавали по карточкам в длинной скучной очереди. А на выходе из хлебного ларька, если там не стоял милиционер, - собиралась толпа страшных детей, называвшихся беспризорниками. Оборванные и чумазые, они плаксиво просили: «Тетенька, дяденька, дайте кусочек хлебушка». И случалось, вырывали хлеб из рук у зазевавшихся. И у мальчика однажды на улице беспризорники вырвали из рук булочку. Это было очень обидно, мальчик долго плакал, папе это надоело и он сказал: «Не плачь, ты не голодный, а они голодные».

Мальчик тогда не возразил и не удивился, потому что он еще не слушал радио и не читал «Мурзилку» и не знал, что в Эсэсэсэр никто не голодает. А беспризорникам нарочно не давали есть родители, потому что не хотели работать в колхозе. Однажды утром в маленькой барачной комнатке появилась деревенская тетя Саша со своим сыном, двоюродным братом мальчика. Они жили здесь до лета и говорили, что убежали из деревни. А немного позже приехала бабушка и рассказала, что дедушка умер от того, что нечего было есть. Папа очень расстроился и сказал: «Как же так? Я ведь все время посылал ему деньги». Мальчик не понимал папу и бабушку, потому что они, как и тетя Саша, говорили не по-русски. Но папа перевел маме, что деньги дедушка не получал, их забирал себе какой-то Сельсовет всчетналага, И папа, который всегда все объяснял мальчику, так и не сказал ему, кто такой Сельсовет и что значит всчетналага. А потом мальчик вместе с мамой, папой и бабушкой переехал в новый дом. Так и радио говорит: все советские люди переезжают в новые большие, светлые дома. Когда бабушка стала болеть и не могла подниматься пешком на восьмой этаж — а лифт постоянно ломался — с ними стала жить домработница Наташа. Она тоже была деревенская и совсем неграмотная. Однажды мальчик показал ей картинку в книжке про то, как при

крепостном праве панский есаул выгонял плеткой крестьян на барщину. Наташа посмотрела на картинку и сказала: А я это помню. Так все в точности и было.

— Сколько же тебе лет? — удивился мальчик. Хотя толком и не знал, сколько надо иметь лет, чтобы помнить крепостное право. Он знал только, что крепостное право было еще до революции, может быть, и перед самой революцией.

- Скоро двадцать пять будет.

- Как же ты можешь помнить?

— Как сейчас, помню. Мамка болела, не могла в поле работать, а бригадир пришел, плеткой её побил.

— Так это в колхозе что ли, было? — от всей души возмутился мальчик.

— Нет, в тозе.

Мальчик задумался над непонятным словом.

— А тоз был раньше колхоза?

— Раньше. В колхозе я и не работала. Все мои с голодухи померли, а я в город убегла.

«Ну, если раньше колхоза, то, наверное, еще до революции» — успокоился мальчик. Всех непонятней и упрямей была бабушка. Подумать только — каждому, даже ребенку известно, что раньше, до революции, было плохо, а теперь, после революции, хорошо. Для этого и революция была, и гражданская война, когда всех беляков побили. А послушать бабушку — так радио неправду говорит и раньше будто бы было лучше, чем теперь. Все дешевле было, все можно было купить без всякой очереди. Будто бы у них: с дедушкой была своя земля, две лошади, корова и овцы, И всегда они сытно ели. хорошо одевались и весело жили. Это при царе и буржуях! Это когда крестьяне сплошь работали на помещика,

разорялись и голодали... Такого не может быть! В самом деле—если бы люди сытно ели, хорошо одевались и весело жили, зачем бы они делали революцию? А оаз юбыла революция, значит, это все неправда. Очень-очень глупые и вредные эти старые люди. И ведь все они такие! Однажды пришел исправлять батарею старичок- слесарь. И бабушка, которая с трудом говорит по-русски (она — гречанка) с ним разговорилась. Вдвоем они стали вспоминать, как раньше будто бы хорошо жилось в деревне и как плохо теперь стало. Очень глупые люди! Не знают, что раньше было плохо, теперь — хорошо.

— Бабушка! Бога нету, радио правду говорит, раньше было плохо, теперь -- хорошо! «Не надо дразнить бабушку, — говорил папа.

— Она старенькая, у нее все болит. Вот ей и кажется, что, когда она была молодая и здоровая, все было лучше, чем теперь. Не надо с ней спорить, мы же с тобой знаем, что она неправда».

Мальчик соглашался с папой и обещал больше не дразнить бабушку. Но все равно: очень-очень глупые эти старые люди. Еще в какого-то бога верят. А всем известно, что никакого бога нету, его выдумали попы и на самом деле люди когда-то произошли от обезьянки. Это значит, бабушка, что твой пра-пра пра-пра-дедушка был обезьянкой. У мальчика папа и мама - оба инженеры. Они вместе учились в институте, теперь вместе работают в проектном учреждении с длинным названием. Утром папа и мама уходят на работу, и мальчик на весь день остается с больной бабушкой и домработницей Наташей. Вечером папа и мама приходят домой и долго, скучно разговаривают о каких-то бьефах, водосбросах и разрезах. Потом, когда мальчик уже спит, папа подолгу сидит за письменным столом при настольной лампе, что-то пишет и считает или же читает. Зато в шестой день рабочей шестидневки все втроем - папа, мама и мальчик - идут в кино, а летом в зоопарк или в парк. Там мама с папой уже не говорят о своих скучных и непонятных делах. Обычно папа рассказывает

мальчику обо всем на свете, о разных странах, разных временах, разных науках. Год тому назад в большой комнате стояла елка и приходили гости. Елка тогда была в первый раз, раньше, вообще, не было новогодних елок. Радио говорит, что елку подарил детям ТОВАРИЩСТАЛИН. Вот скоро опять Новый год, у соседей уже наряженные елки стоят, а папа до сих пор елку не купил. Мальчик догадывается - это из-за того письма, которое не давно пришло из деревни. Папа после письма стал очень хмурый, озабоченный и рассеянный. Что-то непонятное было написано в письме про дядю Савву - кто-то куда-то зачем-то его за брал. Дядя Савва не инженер, а рабочий. Бабушке рассказывала, что он не стал работать в колхозе и ушел на железнодорожную станцию. Он да же четырех классов не кончил, потому что надо было работать. Еще бабушка рассказывала, что Ваня, то есть папа мальчика, в детстве был слабеньким и много болел, но хорошо учился в школе. А брат и сестры - все старше папы - были здоровыми, сильными, привычными к крестьянскому труду. Они говорили: пусть Ваня учится дальше, а мы будем работать. Поэтому папа и стал инженером. Но инженером папа стал не сразу. Едва окончив сельскую школу, он сам был учителем, потому что тогда шла гражданская война, и больше некому было учить детей. Потом папа служил в Красной Армии (есть даже фотография такая, на которой папа - красноармеец), работал на заводе, поехал в большой город, выучился в институте и стал "ученым", - так бабушка говорит.

- Папа, - спросил мальчик. - А куда дядю Савву забрали?

- Кто тебе сказал, что дядю Савву забрали?

- Бабушка сказала.

- Дядю Савву забрали... его забрали в армию.

- В Красную Армию?

- Конечно, в Красную.

Это хорошо! Это здорово! Теперь дядя Савва, такой высокий и сильный, будет в красноармейской форме, с винтовкой в руке, а, может быть, и с саблей... Почему же папа такой хмурый, задумчивый и грустный, почему же мама такая озабоченная и невеселая, почему бабушка все время молится и плачет? И когда же, наконец, вы мне купите елку?

За три дня до Нового года мальчик проснулся среди ночи. Раньше он никогда не просыпался ночью. А сейчас яркий свет ударил ему в глаза. Ночью верхний свет в спальне - такого еще не бывало. В спальне и в большой комнате какие-то незнакомые люди в форме и без...

- Mamочka, что они здесь делают? Мама нагнулась над кроватью.

- Спи, мальчик. Папе надо срочно выехать в командировку, поэтому за ним пришли.

- А почему военные?

- Папа вместе с ними поедет в командировку.

- А что они ищут?

- Это папа один важный документ потерял. Вот они и помогают ему искать. Так бывало иногда в раньше, папа бывал рассеянным, но он никогда не клал бумаги в ящики шифоньера, под матрац и в цветочные горшки. Зачем же военные помогают ему там искать важный документ? И почему один из них смотрит альбом с фотографиями, спрашивает у мамы, кто на них сфотографирован? Наверное, ему просто скучно, пока другие помогают папе искать документ. Так бывает: если гостям скучно, им показывают альбом. И почему же папа сам не ищет? Ему помогают, а он не ищет. Мальчику показалось это смешным и он заулыбался. Еще он улыбался от того, что был доволен: папа едет с военными, и они пришли за ним. Ведь мальчик, как и все советские дети, очень любит военных. Не только главных, Ворошилова и Буденного, а всех. Папа

стал собирать свои вещи. Он всегда собирал свои вещи, отправляясь в командировку, а это случалось часто. Папа всегда знал, что надо брать с собой. А теперь он почему-то спрашивает у военных, можно ли взять с собой бритву? Нельзя, говорят ему. А можно ли взять книжку? Папа взял в руки толстую английскую книжку, которую ему подарили недавно на работе к годовщине Октябрьской революции. На книжке написано, что ее дарят папе, как стахановцу. Это значит, что он очень хорошо работает. Мама - ударница, она хорошо работает, а папа - стахановец, он работает очень хорошо... Не берите книжку, сказали папе, там будут книжки. Это наверное, потому, что книжка большая и тяжелая. Мама тоже всегда говорит папе, чтобы он не брал с собой тяжелые вещи. Папа надел пальто и впервые за ночь подошел к мальчику, поцеловал его в щечку.

- До свидания, мальчик. Я скоро вернусь. Мальчик хотел спросить: а как же елка? Но он смолчал. Папа и все чужие вышли из квартиры. Мальчик спросил:

- Мама, папа уже уехал в командировку?

- Да, спи.

- Он скоро вернется?

- Да, скоро. Спи.

- Он нашел документ?

- Нашел. Спи, спи.

И мальчик спокойно уснул. Он ведь не знал и не думал о том, что больше никогда-никогда не увидит своего папу. Папа уехал в командировку - это было так обычно! А утром, едва проснувшись, мальчик расплакался:

- Папа уехал в командировку и не купил елку. А послезавтра уже

Новый год.

- Зачем нам елка, если папы с нами нет?

- Вы же мне обещали!

И мама пошла покупать елку. Вечером мальчик и мама наряжали елку, но это было совсем не так, как год назад. Мама все время молчала, и мальчик знал, что раз папа в командировке, то никаких гостей не будет, а без них и елка не очень-то нужна. Свой Новый год мальчик провел не у елки, а в вагоне поезда. Мама пришла с работы и сказала, что они с мальчиком сейчас же поедут в другой город к ее родственникам, и мальчик останется у них.. Потому что ее тоже собираются послать в командировку. Мама раньше иногда ездила в командировку, по совсем не так часто, как папа. И если она уезжала, то папа был дома, а вдвоем они никогда не уезжали.

На вокзал отправились втроем с домработницей Наташей. Это для того, чтобы Наташа отвезла мальчика в другой город, если маму прямо с вокзала вызовут в командировку... Зря мама так волновалась, в командировку ее не послали, и месяц спустя она привезла мальчика домой. В большой комнате еще стояла наряженная елка, но с нее уже осыпались последние пересохшие иглы. Домработница Наташа больше не жила у них, а бабушка болела так сильно, что выходила в туалет, двигая перед собой стул и опираясь на него.

- Когда же папа приедет?

Мама отвела мальчика в меньшую комнату и тихо сказала ему:

- Папа вернется теперь очень нескоро. Понимаешь, он не в командировке... Твой папа очень хороший, но его оговорили, оклеветали, будто он - враг народа, и ты этому никогда не

верь. Мальчик впервые увидел, как плачет его мама. Раньше он думал, что плачут только маленькие дети и бабушка. Скучно стало жить без папы. Теперь, если мальчик просил купить ему игрушку, книжку или дорогие конфеты, мама чаще всего говорила: "У нас мало денег". И постепенно мальчик разучился просить. Очень неприятно было, когда мама по вечерам плакала, а плакала

она часто. Теперь мальчик понимал, почему мама увозила его в другой город, она боялась, что ее тоже арестуют, а мальчика заберут в детдом. Но им повезло: маму не арестовали, не уволили с работы и не выселили из квартиры, а мальчика не забрали в детдом. Становилось веселее, когда бабушке из деревни приезжала еще одна папина сестра, тетя Дуся. Она необразованная, но очень начитанная. Тоже верит в бога, но не так, как бабушка, - не крестится и не молится. Она часто рассказывает мальчику разные истории из толстой книжки, которая называется библией. Это интересно, как сказки, но мальчик знает, что никакого бога в самом деле нет, и говорит об этом тете Дусе. Тетя на это не сердится, только подсмеивается над мальчиком, а иногда и над богом. Мальчик, вообще, считает, что тетя Дуся верит не столько в бога, сколько в карты, она постоянно гадает. На себя, на маму, на папу, на дядю Савву. А еще - на ТОВАРИЩСТАЛИНА, как на обыкновенного человека, только никак не может определить, какой король ТОВАРИЩСТАЛИН - трефовый или червовый. И на Ворошилова гадает, и на самого главного фашиста Гитлера, а он определенно трефовый. Это для того, чтобы узнать, будет ли война? ТОВАРИЩСТАЛИНУ и Гитлеру тоже все время выпадает пиковый туз – самая плохая карта. В отличие от бабушки тетя Дуся не говорит, что раньше было хорошо, она говорит: всяко было. Но советских красных вождей - это очень возмутительно - называет палачами и узурпаторами, говорит, что все враги народа сидят в Кремле. А про папу тетя Дуся говорит, что он очень умный, но дурачок - верил тому, что в газетах пишут и по радио говорят, даже хотел вступить в партию. Разве можно слушать все это спокойно? Мальчик догадывается, что в чем-то тетя Дуся права. Да, с папой поступили несправедливо, и, наверное, еще с кем-то. Папа ни в чем не виноват, его оклеветали. Но есть же настоящие враги, они вправду были в Кремле, но больше их там не осталось. Настоящие враги - это Бухарин и Рыков, и тот доктор (забыл фамилию), который сначала укусил за грудь женщину - об этом много говорило радио, - а потом взял и отравил Максима Горького, который написал про воробышка и еще многое другое... А Бухарин - он же еще в восемнадцатом году хотел убить Ленина, но чекиста застрелил один предатель, и он (чекист) не смог тогда никому рассказать, что Бухарин - враг... Конечно, не все так уж хорошо у нас в Эсэсэсэр, как говорит радио. Но там еще хуже. Там сажают в тюрьму лучших людей, коммунистов, а у нас - врагов народа, диверсантов и только иногда, по ошибке, невиновных людей вроде папы. У нас построили социализм и строят, строят, строят коммунизм, чтобы людям было хорошо. А там... строят ли там? Строят, конечно, но не социализм и не коммунизм. Строят просто электростанции, не затем, чтобы людям было светло и тепло, дороги, не затем, чтобы люди по ним ездили... Все только затем, чтобы у буржуев было больше денег. Мальчик будет долго-долго жить с таким убеждением.

По вечерам мама и тетя Дуся подолгу размышляют: кто же именно оклеветал папу? И где? В городе или в селе? На работе или дома? И никак не могут решить, кто, где, когда. Соседи по этажу и подъезду вначале сторонились мамы, не разговаривали и даже не здоровались с ней, уводили своих детей от мальчика, велели не играть с ним. А потом многие из соседей становились вдруг добрыми и внимательными. Мама говорила: это значит, что кто-то из их родственников пострадал. Мальчику никто не говорил, что его папа – враг народа. Только противная девчонка с пятого этажа... обыкновенная противная девчонка; наверное, детство каждого мальчишки было омрачено хотя бы одной такой противной девчонкой... Она однажды сказала на лестнице, кривляясь и гримасничая:

- А я знаю! А я знаю! Твоего папу арестовали. Он враг народа.

- Неправда - возразил мальчик, - мой папа уехал в командировку.
- А вот, и нет. А вот, и правда. Его арестовали. Он - враг народа, враг народа, враг народа - и показала язык.

Противную девочку увели родители, что-то ей втолковывая.

А осенью мальчик пошел в первый класс. Ему очень хотелось учиться в школе еще год назад, но тогда ему не было полных восемь лет, хотя он уже умел читать и писать печатными буквами, незаметно для себя и для родителей научился. Теперь он выводил пером палочки "на трех косых" в тетрадке и очень боялся, что все в классе - и ученики, и Марья Ивановна узнают про папу. Товарищам мальчик говорил: "Мой папа опять уехал в командировку". "А он когда-нибудь бывает дома?" - спрашивали те. "Бывает, но очень редко". Это хорошо, что в классе нет детей из их подъезда. Но в школу ходит противная девочка с пятого этажа. Она учится в первом классе, но не в "А", а в "Б". И мальчик живет в постоянном страхе, что противная девочка всем расскажет, и все - ученики и Марья Ивановна- узнают: его папа - враг народа, и не поверят, что он не враг народа, что его просто так оклеветали.

* * *

Каждый раз, когда ученики в классе доходят до страницы букваря, на которой изображен ТОВАРИЩСТАЛИН, Марья Ивановна спрашивает:

- Ребята, чей это портрет?

И все первоклашки, с ними мальчик, отвечают хором:

- ТОВАРИЩСТАЛИНА!

- А как зовут товарища Сталина? Отвечайте по одному, поднимайте руки.

И все первоклашки, а с ними мальчик, начинают подпрыгивать, ерзать на партах, подпрыгивая в нетерпении, вытягивать руки:

- Я скажу! Я скажу! Я скажу!

-- ТОВАРИЩСТАЛИНА зовут Иосиф Виссарионович Сталин.

- Правильно, Толя.

- А еще его звали товарищ Коба.

- Нет, это у него фамилия была такая.

- Дурак! Не фамилия, а партийная кличка.

- Ребята, спокойно. Какой он, товарищ Сталин?

- Мудрый вождь!

- Великий!

- Гениальный мыслитель!

- Верно, Лена. А что значит: мыслитель?

- Это значит, что ТОВАРИЩСТАЛИН много и хорошо думает.

- А о чем думает товарищ Сталин?

- Он думает о том, чтобы всем детям было хорошо.

- А что сделал товарищ Сталин?

- Я скажу! Я скажу! Я скажу!

- Он вместе с дедушкой Лениным сделал революцию.

- Нет, дети, революцию сделали рабочие и крестьяне, а Ленин и товарищ Сталин,- что?.

- Организовали и возглавили рабочих и крестьян.

- Молодец, Петя !

-- Создали коммунистическую партию большевиков.

- Хорошо, Вера! А еще что?

- ТОВАРИЩСТАЛИН разгромил всех врагов народа.

- Верно. А кто такие враги народа?

- Я скажу! Я скажу! Я скажу!

- Капиталисты и помещики.

- Нет, капиталисты и помещики - за границей. А кто у нас им служит?

- Троцкисты и бухаринцы! - Кулаки и вредители!

- Шпионы и диверсанты!

- Изменники Родины!

- Что хотят враги народа?

- Я скажу! Я скажу! Я скажу!

- Они хотят сделать советских людей рабами капитала.

- А что значит: рабами капитала?

- Чтобы на буржуев работали, а они обжирались.

- Чтобы не было колхозов и вернулись помещики.

- А на заводы чтобы вернулись фабриканты.

- А что делают враги народа ?

- Убивают из-за угла.

- Взрывают фабрики и заводы.

- Пускают под откос поезда.

- Это самое... двурушничают.

- А что значит двурушничают ?

- Говорят одно, а делают другое.

- Скрывают свое лицо.

- Прикидываются.

- Хвалят ТОВАРИЩСТАЛИНА, а сами хотят его убить.

- Как мы относимся к врагам народа?

- Я скажу! Я скажу! Я скажу!

- Ненавидим!

- Презираем!

- Клеймим позором!

- Разоолачаем!

- Что значит: разоблачаем?

- Я скажу! Я скажу! Я скажу!

...Мальчик уже не подскакивает на парте и не тянет руку. Он сжался

в комок, затаился и слышит, как всё - быстрее бьется сердечко. И не замечает того, что есть в классе другие дети, которые вот так же сжались и умолкли. Ему кажется, что он один... Вдруг встает с парты противная девченка... Откуда она взялась? Она должна быть в первом " Б", а здесь первый " А". Но она встает, указывает на мальчика и говорит:

- А его папу арестовали еще зимой. Его папа - враг народа!

- Неправда! - кричит мальчик. - Мой папа - не враг народа!

- А вот, и правда! А вот, и враг народа! А летом у них была кан... кафинскация!

И все ученики вскочили из-за парт, запрыгали, захлопали в ладоши, закривлялись и закричали:

- Папа - враг народа! Папа - враг народа! Папа - враг народа!

И красные вожди с портретов на стене затопорщили свои усы, высунулись из рам и устремили свои взгляды на мальчика. А Марья Ивановна поднялась, грозная, сердитая:

- Вот, ребята, сын врага народа. Разоблачайте его! Клеймите позором! Он затаился! Он двурушничает. Он...

- Нет! - кричит мальчик. - Папу арестовали, но он не враг народа. Мой папа хороший! Он лучше всех! Его оклеветали!

И пришел в себя... Значит, это только привиделось. Как во сне.

В этот раз привиделось. А в следующий раз? А в следующий? А

в сле...? А в следующий раз будет наяву.

* * *

Спустя двадцать лет я получил справку о реабилитации, в ней было сказано, что отец, осужденный "на десять лет без права переписки", умер в заключении в 1946 году. Спусти еще двадцать лет я узнал, что за этой формулировкой славные чекисты скрыли немедленный расстрел, а в "либеральные" хрущевские времена они же широко фальсифицировали даты смерти. Еще я узнал, что никто не клеветал, на отца, не писал на него донос. Такого, пусть и подлого, но все же человеческого объяснения арест отца не имел. Его арестовали и расстреляли, выполняя плановое, а, может быть, сверхплановое задание. В ранней молодости отец, как и подобало сельскому учителю, входил в культурно-просветительную организацию, объединявшую греков, болгар, сербов, живших на юге Украины. Организация была легальной и поощряемой Советской властью. Уехав из родного села, отец оторвался от своей этнической среды, организация тем временем то ли самораспустилась, то ли была распущена на очередном коварном изгибе сталинской национальной политики. Это произошло за десять лет до 1937 года. В том памятном году организация была объявлена шпионской, старые списки подняты (то-то было радости у славных чекистов!), все, кто в них фигурировал, арестованы и ликвидированы. До сих пор не знаю, был ли членом злополучной организации малограмотный дядя Савва. Знаю только, что в его родном селе после тридцать седьмого года не стало более трети взрослых мужчин.

ИЗ СЕРЕДИНЫ ВЕКА

Рассказ 1.

ОБЛАВА

Ни до, ни после войны я не видел в своем городе такого многолюдного, подвижного и певучего базара, как в годы оккупации. Казалось, весь город собрался здесь. Для очень многих базар стал не просто местом торга, а источником жизни. Как может рынок кормить в отсутствие производства? Пусть об этом болит голова у экономистов. Я же просто сообщаю факт.

Предметом купли-продажи, а то и натурального обмена становились предметы немислимые — старый худой мешок, картофельные очистки, подобранные на солдатской кухне, собранные на улице окурки, какао-бобы со склада кондитерской фабрики, разграбленного горожанами в неделю безвластия между уходом из города наших и вступлением в него немцев.

Эти бобы шли по той же цене, что и ржаные отруби; многие предпочитали отруби — до шоколада ли теперь? Но можно было найти на базаре и чайный сервиз севрского фарфора и купить его за несколько стаканов пшена. Лишь необходимые продукты не нуждались в рекламе, во всем остальном предложение явно превышало спрос. Серая, бурлящая в постоянном движении толпа предлагала свои товары громко, нараспев. До сих пор вижу, как неправдоподобно высокая, невероятно длинноногая девушка с перекинутой через плечо противогазной сумкой, быстро, журавлиным шагом ходит взад-вперед, деловито приговаривая без пауз: «Есть сахарин — кому сахарин?» Слышу, как пронзительно, на самых высоких нотах приторным голосом причитает плотная, круглолицая женщина: «Ну кому, кому пончики свеженькие, вкусенькие, горяченькие?» Представляю, как пожилой грузный армянин с лицом скорбящего ассирийского царя ревет, устремляя в небо

могучий нос: «Зылоны мыыла!» В многозвучный хор вливаются голоса нищих, просящих, распевающих псалмы, плачущих навзрыд. Вот маленькая девочка выводит очень музыкально: «Тетенька, холосенькая, дайте цто-нибудь!» Вот глухонемой и к тому же слабовидящий парень, опершись локтем на маленький коврик, непрерывно жалобно мычит. А на углу одного из уцелевших (не разобранных на дрова в суровую зиму) павильонов, маленький, сухонький старичок в странном колпаке — скорей всего, это натянутый на голову старый шерстяной чулок — стоя на коленях, поет дребезжащим тенорком: «И предсмертный страдания, и надгробныя рыдания. Аллилуйя!» Но чего-то важного еще не хватает в этой какофонии. Ах, да! Петушиных пацанячьих голосков, предлагающих поминутно папиросы: «Есть «Пилот», закуривай вот!» «Есть «Чайка» — закуривай-ка!» Среди них узнаю и свой ломающийся голос. Да, была в моей биографии такая страница — спекуляция табачными изделиями. Впрочем, почему же спекуляция? Оккупантами была объявлена полная свобода торговли без всяких ограничений. Кроме одного - строго запрещалось покупать что-либо у солдат и перепродавать. Солдатам за это грозило дисциплинарное взыскание, местным жителям — наказание похуже, вплоть до виселицы. Это совсем не значило, что солдаты (да и офицеры) не продавали турецкие сигареты, венгерские вина, пайковое мыло, греческие апельсины. Это совсем не значит, что местные жители не вступали с ними в торговые сделки и не выносили незаконно приобретенные предметы на базар. Надзор за соблюдением запрета возлагался на местную полицию и сразу же стал одним из средств ее существования. Так отработанная веками, надраенная до блеска европейская военно-бюрократическая машина увязала в трясине азиатской коррупции.

На этом строгом запрете со временем погорел и я. Весь свой оборотный капитал, сбитый на «Пилоте» и «Чайке», я вложил в большую (100 или 150 штук) коробку турецких сигарет. Не успел продать и полдесятка, как некий мужчина потащил меня в глухой угол, представился работником полиции и для убедительности ударил по носу. Ударил небожно и неумело, но меня до того никто из взрослых не бил, и я выпустил коробку из рук. Этим кончилась моя коммерция. Главной причиной была даже не потеря капитала. Пацаны, вначале спокойно принявшие меня, не простили такую оплошность и выжили с базара. «Дурак! Зачем же ты носил с собой всю коробку? И никакой он не был полицей». Это случилось позже, а в тот памятный день я бойко предлагал тоскующим без табака курильщикам отечественный безопасный «Пилот». Вдруг что-то произошло. Людской муравейник базара замер на мгновенье. Взрыв раздался совсем близко, но непонятно с какой стороны. Ощущение было такое, словно с размаху ударили по уху палкой. Затем толпа заметалась в разные стороны, а откуда-то с краю нарастал непонятный гул, постепенно оформлявшийся в краткое слово: «Облава!»

Меня рванул за рукав взлохмаченный, белобрысый пацан, с которым я до того и не разговаривал, лишь перемигивался при встречах в толпе: — Тикаем, Цыган! Было не до того, чтобы возражать против «цыгана». Лавируя в толпе, побежали мы к разрушенному еще в прошлогдних бомбежках крытому рынку, увлекая своим решительным видом близстоящих людей.

— Тикай за мной, — кричал на ходу пацан, — я знаю дорогу!

Через пролом в стене вскочили мы в здание, по битому стеклу пробежали к противоположной стороне и вылезли в окно. Затем пересекли заброшенную складскую территорию и очутились на берегу речки. Забор подходил к берегу у ее излучины, и нам был виден лишь противоположный безлюдный берег. Слева доносился треск мотоциклов и слышны были гортанные, обрывистые,

словно собачий лай, немецкие возгласы. Справа же было тихо, и мы двинулись туда, к предбазарной площади, к спасительному мосту.

Но, выбегая на площадь, мы увидели, как вдали, наперерез нам быстро движется цепь серо-зеленых шинелей. Оба мы запыхались и нас уже обгоняли. Первой — длинноногая девушка с противогазной сумкой на боку. За ней не бежала, а плыла учащенными шажками женщина с пончиками. Нас обогнал даже пожилой армянин, тяжело ухая на бегу. И где-то над самым моим ухом, дыша мне в затылок, бормотал богомольный старичок: «Господи-суси, помилуй, спаси, избави мя».

Путь к мосту был отрезан. Цепь выстроилась боком к нам. Через нее уже прорывалась высокая девушка, и солдаты неожиданно расступились, загоготали:

— Ком хир, ком хир, битте, панинка!

Девушка побежала дальше, за ней успели перескочить и женщина с пончиками и пожилой армянин... Сердитый окрик офицера, и цепь сомкнулась, неожиданно повернувшись спиной к нам, а затем четким, медленным шагом стала от нас удаляться. Мы продолжали бежать, но, внезапно поняв смысл происшедшего, резко остановились и свалились на мостовую.

Свою ошибку поняли и те, обогнавшие нас, попытались вернуться назад, но солдаты уже подталкивали их к открытой двери автофургона.

— Слава те. Господи, пронесло, — произнес старичок.

Пацан гневно взглянул на него хотел что-то сказать, но тут мы видели, что слева движется на нас еще одна цепь, и бросились прямо к речке, спрятавшись на какой-то момент за невысоким обрывом. Мы оказались прямо у раствора канализационной трубы, и не раздумывая, на коленках вползли в нее; каким-то образом старичок попал туда раньше нас. Сидели притаившись, и отчетливо слышали приближающиеся к нам тяжелые шаги. Перед нами появилось странное лицо солдата, вниз лбом, вверх подбородком. Он пристально всматривался в темноту.

— Вер ист да? — раздался сверху, с кромки обрыва властный голос.

— Ниманд! — ответил солдат. Он нагнулся еще раз, строго посмотрел мне в глаза и тихо повторил: «Ниманд».

Шаги удалялись в сторону моста, стало тихо, и снова часто забормотал старичок:

— Слава те, слава те, Господи! Воистину чудеса творишь.

— Да заткнись ты, зануда старая! — визгливо закричал пацан и расплакался.

Совсем по-дурацки попытался я его утешить:

— Ну, ты же не виноват, что они за тобой побежали...

В последующие дни базар был так же многолюден, подвижен и певуч. Но никогда больше не встречал я длинноногую девушку с сахарином, женщину с пончиками и пожилого армянина с зеленым мылом.

Рассказ 2.

ЛЕВА ИЗ ГОМЕЛЯ

А мы его называли: Лева из Могилева. И каждый раз — как ему не надоедало? — он педантично поправлял: не из Могилева, а из Гомеля. Но нам хотелось, чтобы было в рифму. Хотелось, чтобы из Могилева. Лева из Могилева! Лева из Могилева! Лева на нас не обижался. С непреклонностью, достойной Галилея, он заявлял спокойно:

- Если вам так очень хочется, считайте, что из Могилева. А все-таки я не из Могилева, а из Гомеля. Было Лева шестнадцать лет, а нам по десять-одиннадцать.

Он эвакуировался из своего Гомеля в один из последних дней. как-то случилось, что мама с сестренкой замешкались, а Лева поехал один и должен

был ожидать их в нашем городе, где и было назначено им место эвакуации. Но немцы наступали так быстро, что в наш город Лева попал за две недели до его сдачи. В первую неделю еще звучали по радио, в газетах и на собраниях заявления о том, что враг никогда не вступит в город, не надо сеять панику и поддаваться ей, надо трудиться на своих рабочих местах. Кого надо, тех эвакуируют вместе с предприятиями. А когда потребуется, и вас эвакуируют. Разумеется, те, кто такие заявления произносил, давно отправили свои семьи пассажирскими вагонами с большим багажом в Куйбышев и Иркутск.

А за неделю до вступления немцев в городе не стало никакого начальства, его словно ветром сдуло, не видно было и военных. Люди приступом брали товарные составы, набивались в вагоны так плотно, что ни сесть, ни с ноги на ногу переступить...

Лева уезжать не торопился. Дни и ночи он проводил на вокзале, встречая проходящие с запада составы, все надеялся увидеть маму или сестренку. Наконец, наступил день, когда поезда уже не приходили и не отходили. Не знаю, где и как Лева жил в первые недели оккупации. Мы познакомились с ним, когда уже похолодало, а наш большой, благоустроенный дом не отапливался и жильцы собрались у большой плиты на кухне столовой, что помещалась раньше (значит, до оккупации) в подвале четвертого подъезда. Огонь в плите поддерживал старый истопник Спиридоныч: мы его звали Скипидарычем — от старика сильно пахло скипидаром, которым он постоянно натирал поясницу. Лева прижился на кухне, там же и спал на лавке. Он помотал Скипидарычу, рубил дрова, таскал уголь, выносил золу. Пока не кончились запасы угля, кухня была местом общения и взрослых, и нас, пацанов. Здесь было не так холодно, как в нетопленных квартирах.

Помню, не однажды бывало, что мимо четвертого подъезда проходила одна «мымристая» девчонка, с тонкими, короткими, похожими на крысиные хвосты, косичками - девчонка из барачного городка. Если она видела Леву, то кричала:

— Эй. Абгаша! Не ггусти, ского будешь на вегевке пгыгать!

Она подражала картавости так, как никто никогда не картавит. Лева спокойно возражал:

- Я не Абраша, у меня свое имя есть. Меня зовут Лева.

— Лева, ты—жид, ты—жид! Ты должен на руке звезду носить.

— Смойся, мымра! - вступались мы за Леву.— Он совсем не еврей.

— Зачем врать? — угрюмо говорил Лева. — Я в самом деле еврей.

— Вот видите, видите! Сам признается, что жид. А куда он денется, у него же это на морде написано.

— Это у тебя морда,— возмущались мы. — А он - хороший еврей.

И уточняли, чтобы для нее было понятней и убедительней:

— Лева — хороший жид!

— Хороших жидов не бывает, - убежденно отвечала "мымра",- скоро всех их перевесят.

Пришлось дать девчонке хорошую затрещину. А она не заплакала и обратилась к проходящему мимо немцу:

— Пан! Смотри: это—юде, юде. Стреляй его, шисен его!

— Я есть зольдат, я не есть гестапо, — хмуро отвечал, не останавливаясь, немец. — Ду, кляйнер шупф... ты есть малынки сфолотш...

— Слыхала? — обрадовались мы такой поддержке: — Немец сказал, что ты — сволочь. Она не растерялась:

— Ну и что? Он же не из гестапо, это не его дело. А есть еще гестапо. А вы жида защищаете, значит, и сами вы — жида. В вашем доме одни жида живут.

Помнится, что при всем нашем негодовании мы смутно сознавали, что эта «мымра» изливает многолетнюю обиду обитателей тесных и холодных рабочих барачков, их озлобленность против жильцов благоустроенного многоэтажного дома, куда, правду говоря, очень редко селили рабочих, и только стахановцев; притом. в доме жило много евреев... Но при чем тут наш бездомный, бесприютный Лева из Мо... из Гемеля?

— Лева! — не однажды советовали мы: — Ты не говори, что ты еврей, говори: белорус. Но с Левою ничего нельзя было поделать.

— Как же я могу говорить, что не еврей, если я еврей? Я и похож на еврея.

— Да мало ли кто на кого похож! Немцы еще больше на евреев похожи: каждый второй черный, носатый и все до одного картавят.

— При чем тут «картавят»? — возмущался Лева. — Я же не картавлю. И почему это считается, что еврей обязательно картавит?

— Лева! Так это еще лучше, что ты не картавишь. Сам же говоришь, что нет документов, метрику потерял. Кто докажет, что ты еврей?

— А как я докажу, что я не еврей? Я не могу доказывать неправду.

Однажды в наш разговор вступил Саша, очень серьезный большой пацан, чуть постарше Левы:

— Лева, зачем эта игра в честность? Перед кем?

— Какая игра? — возмущался опять Лева. — Никакой игры. Я не могу говорить неправду. И если я буду говорить неправду, мне никто не поверит. А когда я говорю правду, что я еврей, мне все верят...

— И ты рад, что этому верят? Лева, Лева! Слушай, Лева. уходи-ка ты сегодня, прямо сейчас, куда-нибудь в глухую деревню, где об евреях знают только понаслышке.

— Уходи, Лева, в деревню, — поддакнул Саше Скипидарыч.

Деревни Лева не знал и ее боялся. Но призадумался, долго расспрашивал Скипидарыча про деревенскую жизнь. Возможно, он ушел бы и пересидел в глуши оккупацию. Кому-то это удалось. Если бы не сбил его с толку врач Каневский из девятого подъезда.

— Лева! — спросил однажды Каневский, — признайся, ты комсомолец?

— Комсомолец, — признался Лева. — Все вступали. и я... весной.

— Вот и отличненько, — обрадовался Каневский. — Значит, ты — активный мальчик. И я могу привлечь тебя к очень серьезному делу.

— К какому еще делу? — насторожился Лева.

— Мы проводим перепись всех евреев города. А руководит нами, знаешь кто? Сам профессор Лившиц.

— Не знаю, — сказал Лева. — У нас в Гомеле был дамский сапожник Лифшиц. Он не профессор.

— Разумеется, — снисходительно улыбнулся Каневский. — Ваш сапожник Лифшиц — не профессор. А у нас не Лифшиц, у нас Лившиц. Не сапожник, а ученый с мировым именем.

— А зачем переписывать всех евреев?

— Видишь ли, Лева? Наш статус, статус евреев в этом городе претерпел изменения. Мы особая категория населения и к нам особое отношение. Это неприятно, но с фактами приходится считаться.

— Говорят, что всех нас уничтожат, — угрюмо сказал Лева.

— Кто говорит, Лева? Кому ты веришь? Это все — советская пропаганда. Мало ли что о немцах писали советские газеты! А

скажи. Лева, ты видел, чтобы немцы убивали на улице людей, чтобы они насиловали женщин, чтобы врвались в квартиры и грабили?

— Не видел, — согласился Лева. — А в третьем и во втором подъездах солдаты ходили по квартирам, забирали патефоны, велосипеды и...

— Так это — обычное мародерство, оно есть в любой армии мира. И командование быстро пресекло его. Кому нужно разложение собственной армии?

— Никому, — снова согласился Лева. — А в седьмом подъезде застрелили женщину.

— Она нарушила комендантский час. Это, Лева, не бесчинство, это суровый закон военного времени. Нет, немцы - цивилизованная, культурная нация, у них на первом месте закон. Ты думаешь, антисемитизм идет от немцев? Нет - от украинцев, русских.

поляков — от славян. одним словом; это Лева, дикие, кровожадные люди. И наступит момент, когда нам придется просить защиты и покровительства у немецкой армии.

— И что тогда с нами сделают?

— Найдут, что сделать. Поселят в отдельных кварталах. А может быть, вывезут куда-нибудь из города. Вот поэтому нам надо точно знать всех евреев в городе. Убедил я тебя, Лева?

Надо думать, что Каневский -таки да, убедил Леву. Потому что Лева немедленно занялся переписью евреев. Он нашел свое истинное призвание в этом скрупулезном деле и стал, возможно, самым неутомимым и добросовестным переписчиком. Он уходил рано утром и возвращался перед комендантским часом. Нередко он не успевал порубить дрова и тогда Скипидарыч, кряхтя, брался

одной рукой за поясницу, а другой за топор. Где и что ел Лева, никому неизвестно. Вполне возможно, что ничего не ел. Он

заметно похудел и пошатывался на ходу, как пьяный.

Но наступил день, когда, потирая руки, Каневский сказал:

— Мы славно с тобой поработали. Лева! Вчера профессор Лившиц передал списки в комендатуру города и сам комендант поблагодарил его за блестяще выполненную работу...

А через несколько дней повсюду был расклеен приказ коменданта. В нем было сказано, что накануне в городе произошли беспорядки и столкновения между евреями и остальным населением

(вместо «евреев» в приказе использовалось другое слово). Чтобы предотвратить повторение инцидента, всем евреям приказано в течение одного дня собраться на территории станкостроительного

завода и ждать дальнейших распоряжений. Кто не подчинится приказу, тот будет расстрелян на месте. На следующий день

Лева собрал свое имущество, умещавшееся в маленьком узелке. Мы провожали Леву несколько кварталов, пока он не сказал:

— Не надо вам идти дальше. Прощайте, мальчики. Он не любил слово «пацаны».

А врач Каневский накануне обегал все окраины города, чтобы за немислимую плату нанять извозчика. Он долго загружал телегу, свалил на нее не только перины и подушки, но и красивые мягкие кресла, пытался даже втиснуть новенький диван, но запротестовал извозчик.

Незадолго до этого дня выпал снег и не растаял, был легкий морозец, и ласково, весело светило солнышко. Из нашего нагорного района люди двигались по одиночке, маленькими группками к Николаевской площади. Группки нарастали как снежные комья и где-то в начале Московской улицы сливались в непрерывную колонну. А чуть дальше, в этот уже сплошной поток

справа из старых еврейских кварталов в районе Рыбного базара вливался концентрат нищеты, хвори и немочи. Все, что многие годы старательно скрывалось от соседских глаз, теперь выплеснулось на улицу. Дыры и заплатки на некогда добротной одежде, золотушные, рахитичные, туберкулезные дети, инвалиды мировой и гражданской войны, инвалиды давних погромов, инвалиды труда и инвалиды

от рождения — на костылях, тележках и носилках, невероятно древние, казалось, помнящие египетский плен, старики и старухи.

Плач детей, стоны больных, крик и молитвы стариков сливались в монотонный мелодичный гул, а из боковых улочек и переулков шло и шло пополнение. Город кончался, и в отдалении за пустырем виднелись недостроенные, отъявленно непригодные

для жилья корпуса станкостроительного завода.

Здесь колонну оцепили полицаи и эсэсовцы с овчарками, а мимо них шли и шли обреченные. Операция была выполнена безукоризненно. Благодаря не только высокому организационному искусству, присущему великой немецкой нации, но также

но также и самоотверженной работе комитета профессора Лившица. Не была упущена ни одна еврейская семья. Не была по ошибке приписана ни одна украинская, русская, армянская или татарская

семья. Смешанные семьи были рассечены — жены отделены от мужей, мужья от жен. Колонна уже вливалась в широкие заводские ворота. Полицаи громким смехом встречали тяжело груженные подводы и сразу направляли: подводы налево, людей направо, к лишенным крыш заводским корпусам. Лева, как и все остальные, понял, что это конец.

И прежде, чем пуля полицаия оборвала его короткую, честную жизнь, Лева, наконец, увидел — там же, среди обреченных - ученого с мировым именем, профессора Лившица. Впрочем, мне известен случай, когда полицаи, сводя личные счета, отправил на Станкострой свою соседку, пожилую армянку. Там «ошибка»

была обнаружена, но женщине пришлось откупиться золотом. Переписчики в этом неповинны.

РАССКАЗ 3. ЭКЗЕКУЦИЯ

Полицаем Василия Кизиму люди в селе называли по темноте своей да по привычке, а настоящее ему название было шуцман. Полицаи — в районе, на них форма, советская, но без петлиц, а Василь в своей одежде, только по нарукавной повязке и видно, кто он. В районе ему объяснили, что «ман» по-немецки человек, а «шуц» — Защита, охрана и, значит, шуцман — человек, который охраняет односельчан, а от кого охраняет, и объяснять не надо — от разных там бандитов и коммунистов. Сам Василь в полицаи не рвался и не напрашивался, село его на сходе выбрало. А то, что выбрали именно его, это не удивительно. Одно то, что, хоть есть в селе мужики, а посмотришь: тот без руки, тот без ноги, тот глухой, а тот кривой. У Василя же все на месте. А другое - было все же из кого выбирать, но кого и выбрать, если не Василя Кизиму. Человек он спокойный, незлобивый, самогон гонит и пьет только по большим праздникам и в отношении женского пола ничего такого себе не позволяет, даром что в селе полно баб без мужиков и девок без женихов. При Советах Василь не лез в активисты, языком не трепал, работал как вол, сначала на своей земле, а потом в колхозе — когда за натуроплату, а чаще за галочки-палочки, как и все. Сделавшись полицаем, — так уж привычней его называть — посолиднел Василь, рыжеватые усы

отпустил, появилась в нем рассудительность и значительность и, пока молодежь не стали в Германию угонять, пока парни партизанить не попробовали, пока полиция акции не проводила, никто о нем ничего дурного не мог сказать. А уж за то, что потом случалось, я Василя не оправдываю — что было, то было. Только вот в смерти хлопчика этого, Витьки Водопьяна, он не повинен, это я точно знаю.

Дело весной было, в виденную пору совершал Василь обход в селе. Это он сам себе за правило поставил — дважды в неделю все дворы обойти, потолковать с хозяевами или с хозяйками о всякой всячине и бьяснить им требования новой власти. «Пусть наверху там хоть немцы, хоть москали с жидами, да хоть бы сам черт-дьявол, а на месте порядок должен быть, — говорил он. — А то наш брат-хохол порядок так любит, как собака палку: все бы ему по-своему и, хоть себе во вред, но наперекор...». Сорок дворов — это для степной Украины село небольшое; сельсовет, а теперь управа, за четыре километра, в Чернечине. правление колхоза, а теперь земельной громады, — за два, в Касьяновке. Стал Василь самым большим и единственным начальником в селе; бригадыры не в счет — их дело утром людей в поле вытянуть, а все прочее их не касается. Шел, значит, Василь мимо школы, а там в самый раз уроки окончились и детвора на улицу высыпала. Да не высыпала, а выкатилась, словно снежный ком, ив самой середке того кома хлопчик - ростом маленький, весь заплатанный, взлохмаченный и замурзанный. Подбородок у хлопчика маленький, остренький, а губа с губой не сходятся и меж ними мелкие да частые зубки все время оголены. «Что за крысенок?» — подумал Василь.

А надо сказать, что своих детей у Василя не было, не рожала их Катря, а почему — то не каше дело. Потому и к чужим детям у него интереса не было, и всю эту мелюзгу он упомянуть не мог, к нам же в школу еще и касьяновские дети ходили. Василь прошел бы мимо, не ввязываться же ему в хлопьячью драку, если бы хлопчик тот не вскочил на ноги и не закричал: — Вот наши вернутся, я батьке скажу, он вас всех перестреляет! Сами понимаете, что, слыша такие слова, не мог Василь бездействовать. Он и не бездействовал, а подошел и хлопчика за ухо схватил:

— Какие еще наши, чертово дитя?

— Ой, больно, отпустите!

— Какие такие наши?

— Какие, какие! Красные!

— Когда ж это они вернуться ?

— Скоро!

— Ну это ты брешешь. В газете сои написано: они уже за Доном. Это очень далеко от нас.

— Брешут все твои газеты!

— Э, да ты еще и грубишь. У нас так не водится: к старшим на «ты»...

— Не буду я тебе, полицейская морда, «вы» говорить.

Ну и ну! От удивления Василь хлопцево ухо из своих пальцев выпустил. А тут и учитель из школы вышел. Иван Данилович Коробка, одних с Василием лет, но уже лысоватый, грузный, я

очках, подвязанных веревочкой. Василь к нему:

— Добрый день, Иван Данилович. Слышали ?

— Слышал, Васнль Кондратович. Добрый день.

Учитель вынул из кармана большой платок и утер им потный лоб.

— Ой, распускаете вы хлопцев.

— Не говорите. Василь Кондратович. Одна паршивая овца... Не хватает на него моих педагогических способностей.

— Чей он такой? Кто его батька?

— А вы не знаете, Василь Кондратович?

— Не знаю... Погодите, неужто?

— Вот именно.

— Вон оно что! Недаром говорят: яблочко от яблони... Да если его слова до района дойдут, будет всем — и матери его Марии, и нам с вами.

— Сам не знаю, поделаться с ним. Знаете, я всегда держался подальше от политики.

— Ну, не скажите, Иван Данилович. Слушал я ваши лекции. Про сталинскую конституцию и про выборы...

— Не по своей же воле, Василь Кондратович. Вы попробуйте в мое положение войти. Это колхознику можно рот не раскрывать, а с нашего брата любая власть требует языком двигагь. Сейчас же и не поймешь, что говорить. Василь наморщил лоб.

— Я понимаю так, что вам на это указания должны быть от вашего начальства.

— Указаний, Василь Кондратович, много, да все разные. Нас для укзаний каждый месяц в районе собирают, а то чаще. Поначалу все об Украине толковали. Особенно Тищенко из Залмани старался; при Советах он историю в старших классах преподавал, а тут вдруг таким щирым украинцем стал... Намекал даже в том смысле, что немцы пришли и уйдут, а Украина останется. Его и не стало

вскоре. Теперь можно только хвалить немецкую армию, Гитлера и новый порядок. Мол, немецкая армия освободила нас от москалей-большевиков...

— Надо говорить: и от жидов.

— Вот именно, и от жидов. А сегодня в четвертом классе школяры у меня спрашивают: «Почему это нас всегда от кого-нибудь освобождают?»

— Кто же это спросил?

— Да если бы кто-нибудь один... Видите ли, Василь Кондратович, все учебники у нас советские, а там в букваре, и в читанке что ни страница, то Ленин или Сталин, то Ворошилов с Буденным.

Вот они сами и вычитали, что Ленин и Сталин с большевиками освободили нас от помещиков и капиталистов. А я им говорю: Гитлер с немцами освободил нас от большевиков и жидов. Они и спрашивают: «А кто нас теперь от Гитлера и немцев освободит?»

— Даже так! Не крутите, Иван Данилович, говорите, кто такие вопросы задает?

— Не следовало бы мне, да разве в селе что-нибудь утаишь? Гаркушивский Сашко это спросил, а потом и другие подхватили. Если, мол, нас освободили, значит, мы можем жить так, как сами хотим, а не как Гитлер велит, иначе какая же свобода?

— Глупости все! Это они от старших наслушались. А на кой черт, скажите, нашим людям свобода, разве они знают, что с этой свободой делать? Не свобода им, а порядок нужен. При Советах какой был порядок? Поскорей из села хлеб вывезти, свалить на

станции, и пусть он там гниет — разве это порядок? Теперь везем на станцию ровно столько, сколько в вагоны можно погрузить. Вот о чем говорить надо.

— Говорил и это, а что толку?.. Вот с Водопьяном еще хуже.

— Что он?

— «Дураки вы все, — говорит. — Ленин и Сталин народ освободили, а Гитлер нас завоевал и поработил». Тогда Сашко с ногами на скамью вскочил и закричал: «Прос... твой Сталин Украину». Я уже велел всем из школы домой идти, а хлопцы стали вокруг Водопьяна ходить, пританцовывать и петь...

— Что же они пели?

— Да глупая песня! «Сталин грае на гармошци, Клим танцюе гопака. вже прогнали Украину два советских дурака».

— И впрямь глупая песня, но ничего, ее можно.

— Тогда Водопьян на всех с кулаками бросился, и началась драка.

— Да, серьезное дело. Старому Гуркуше велю выпороть внука — ишь, что выдумал: вопросы задавать! А с крысенком этим, Водопьяном, что будем делать? Вы с матерью его говорили?

— Разговаривал и не однажды. Сами знаете, Мария — женщина тихая, запуганная, с таким сыном ей не справиться.

— Надо припугнуть хлопца, чтобы хуже ему самому и матери не было.

— А как, Василь Кондратович? Нам теперь разрешено применять телесное наказание — линейкой по пальцам. Это и больно, — но боль быстро проходит. — и обидно, и стыдно. К одному только Водопьяну я и применял — думаете, помогло? Нисколько. Вот если бы вы...

— Что вы за люди, интеллигенция? Ничего сами не можете! Ну да ладно, Иван Данилович, пусть будет так, но только с вашей помощью.

— Это мне с плеткой? Да. если что-нибудь изменится, меня и за линейку дисквалифицируют.

— С плеткой я и сам управлюсь, вы только подержите его. Дис... квалихируют, говорите? То есть из учителей погонят? Ничего, вы и счетоводом проживете. Вот меня, если что-нибудь изменится, расстреляют. Да уж для общего блага... И не бывать этому: они уже вон где — за Доном.

Пошел Василь дальше селом и, минуя хаты, направился к той, что под старым явором. Хозяйка во дворе сорочки стирала, заулыбалась, увидя Василя, и стала рукой собирать мыльную пану с другой руки. Василь разгладил усы.

— Здорово, Одарка! — сказал.

— Здравствуй, Василь.

— Мария дома?

— Нет ее, пошла к Карпенкам крупу порушить. Заходи, Василь, во двор. Они сели рядом на завалинке.

— Как с постояльцами уживаешься, Одарка?

— Да ничего, Мария — женщина тихая, с Витькой хлопот много, бывает, нашкодит. Так ребенок же!

— Ребенок! Эх, Одарка, добрая ты душа! Это вражий ребенок. Учитель говорит: сладу с ним нету.

— Говорит, и что с того? И другие матери говорят: наши дети не такие — послушные, уважительные. А они послушные только, около мамок да учителя. Когда соберутся в яру или у речки, то и махорку курят, и матюкаются, как москали, а которые постарше, те девчаток щупают, где не следует. И те, бесстыжие, визжат, а не убегают. Разве ж мы такими были?

— А разве не такими, Одарочка? Забыла, что мы с тобой вдвоем в яру делали? Одарка густо покраснела.

— Да чур тебе, Василь! О чем ты вспомнил?.. Все равно — помнишь, как нам страшно было? Мы ж бога боялись. А этим ни бог, ни черт не страшен.

— Змееныша ты, Одарка, пригрела. От змея только змееныши рождаются.

— И не говори! Уж змей, так змей! В тридцать третьем, когда хлеб забирали, пришел к нам Водопьян, а у нас уже зерна ни бубочки не осталось, все раньше комсомольцы выгребли. Так он в печь полез, горшок вытянул, а там

последняя картошка была сварена. Он во злобе горшок тот перевернул, всю картошку на доливку*, вывалил, сапогом наступил на нее и растер. Потом я ту картошечку с доливки ложкой выскребала, своими слезами поливала. Так мы ее и съели вместе с глиной и кизяком...

— Ну вот! А ты...

— А при чем тут Мария со своим дитем? Что доброго она от Водопьяна видела? Он ведь тогда уже в районе себе нашел молодую да покрашенную, когда хату их сожгли... Ну, скажи, разве можно так делать? Василь нахмурился.

— Это я не одобряю. Зачем же хату жечь? Еще хорошо — день был сырой, а то бы вся улица всполыхнула.

— И виноватых нету.

— Как их найдешь?

— Кто грозился, тог и поджег.

— Так пол-села грозилось. Не могу же я всех арестовать.

— Василь. а что люди говорят!

— Что они говорят?

— Будто Водопьяна живого в нашем районе видели, на том крае, где Залимань.

— Кто говорит?

— В Касьяновке к бабе Горпина приходила из Чернечиины, а ее родичка в Павловке живет, а ..

— Хватит, хватит, Одарка! Это бабская почта работает. Что ему, Водопьяну проклятому, в нашем районе сейчас делать? За немцами шпионить? А сколько их, тех немцев у нас? Или железную дорогу взорвать? Так она хорошо охраняется.

— Бабы говорят: на заметку он берет.

— Кого еще на заметку?

— А кто что сделал, кто что сказал, кто газету эту... «Нову Украину» читает и не плюется, Сталина в непотребном виде нарисованного смотрит и смеется, кто про тридцать третий вспоминает ..

— Ну конечно! Все-то они, твои бабы, знают. Если за такое на заметку брать, то всех поголовно... А я у них наверняка прописан. Только пустое это все. Они уже вон где — за Доном!

— Ой, Василь, я и не знаю, радоваться ли тому? Посчастливилу Карре, что ты в окружение попал в наших краях, и пуля тебя не зацепила. А наши мужики там. Но молодежь, говорят; скоро в Германию погонят...

— Погонят! Никто их не погонят, поедут, свет увидят и домой вернуться. И с мужиками как — нибудь обойдется, если живые еще. Лучше, Одарка, о деле поговорим. Витька этот, Водопьян, также слова произносит, что их можно как большевистскую пропаганду... Понимаешь, что это такое? И мы с учителем Коробкой решили дать ему горячих...

— Ребенку? Да побойтесь бога!

— Я, Одарка, бога не боюсь, а коменданта и полиции боюсь. За этого крысенка все село может пострадать, а ему наука на пользу пойдет. Так ты это самое... в воскоесень Марию придержи, когда заберем его, уговори. чтоб она шум не поднимала и не шла за нами.

Как сказал Василь, так и совершилась экзекуция в воскоесень. Василь с учителем Коробкой решили людей не собирать, а то Витька при них еще что-нибудь выкрикнет. В окошко же, кому интересно, пусть смотрят. Привели они вдвоем Витьку в школу, штанишки ему опустили, ремнем к скамье привязали,

учитель ещё за ноги его придерживал, чтобы не брыкался, Василь хлестнул его пять раз без злости, без сердца, по тяжкой обязанности, ради общего добра и малому и науку. А Витька, хоть бы один звук издал.

— Молчит, змееныш, еще не проняло, — сказал Василь. — Надо еще добавить. Он добавил еще пять раз по битому месту, и Витька чуть слышно заскулил.

— Ну, хватит с тебя, иди к мамке и больше языком не трепи.

Хлопчик поднялся со скамьи, взял в руку ремень и, придерживая другой штаны, направился к двери, на пороге обернулся:

— Вы оба об этом пожалеете. — только и сказал.

В последующие дни Витька в школу не приходил, и учитель Коробка о нем не беспокоился, понимал: больно хлопцу

сидеть. Но и домой Витька не приходил. Мария не знала, где его искать. А однажды утром вышел Василь из своей хаты и услышал звонкий голосок:

— Дядька Василь! Обернулся Василь и видит: стоит перед ним

Витька Водопьян, правую руку за спиной держит.

— Смерть предателям!

— выкрикнул и руку вытянул из-за спины. Василь был не из пугливых, спокойно так говорит хлопчику:

— Э. что это у тебя в руке? С этим не шутят.

А в руке у Витьки была боевая граната. Несколько дней лазил он по ярам и лескам, чтобы найти ее и выковырять из глины.

— Не срывай кольцо, вражий сын, — крикнул Василь и поскорее за угол хаты. Оттуда донесся его голос:

— Бросай подальше от себя и ложись на землю!

Витька завозился вначале с кольцом, потом примерился, чтобы перебросить гранату через стреху туда, откуда доносился голос полиция, потом размахнулся и...

Граната разорвалась в его руке.

* Доливка — земляной пол в украинской хате: периодически покрывается раствором глины и кизяка — коровьего навоза.

Рассказ 4. ЯВКА С ПОВИННОЙ

Осенним днем, под вечер вернулся в село похудевший и оборванный, густой бородой обросший Кость Нечипоренко, и никто не знал, откуда он, где был целый месяц. Только лишь вступил Кость в свою хату, заголосила-заругалась Татьяна:

— Ой, горечко! Какой же бес тебя домой принес и что теперь с нами будет? Расстреляют ведь тебя, а нас из села выгонят, в Сибирь зашлют. Лучше б ты там и оставался, куда поехал.

— Цыц, жинка! — сказал Кость. — Не теряй время, собери мне сухарей да из одожды что-нибудь; та, что на мне, вконец изорвалась, Лучше сам я сразу пойду в сельсовет, чем силком бы меня туда привели. И то хорошо — пока селом шел, никто меня не задержал...

Пошел Кость с торбой в сельсовет и, несмотря на бороду, узнавали его бабы:

— Ова, Кость! Откуда ты и куда? А Кость им отвечал:

— Издалека, бабонькй, издалека, а иду еще дальше...

Пришел Кость в сельсовет, а там на его счастье — тьфу, тьфу! кака раз все сельское начальство собралось. Почти все — из вернувшихся эвакуированных.

Омелько хромой, что еще до оккупации председателем, головой, по-нашему, был в сельсовете. Да дергачевская Надийка, сестра Гната-полицая, теперь она секретарем партячейки стала. И два колхозных председателя — кривой Семен Джура из «Зари коммунизма», а из «Ворошилова» Явдоха Кучеренчиха, да не та, что на улице Ховрахивке, а другая — с Жабокряковки. Она, не как Семен или Омелько, никуда не эвакуировалась, здесь, в оккупации жила, а когда наши вернулись, сделали ее председателем, больше некому было председательствовать.

— Ты это. Кость? не удивился Омелько. — Ждем тебя, слух дошел до нас, что ты в селе.

- Дурень ты. Кость, дурень, — добавил Семен. — Куда тебя понесло на запад с полицаями? Сидел бы тут, как ворошиловский Микита, тебя бы вместе с ним мобилизовали; на фронте ты бы себе доброе имя вернул... Где ты был?

- А-а! Где был, там меня уж нету. Что со мной делать будете?

У Надийки, начиная с растопыренных ушей, все маленькое личико кровью налилось. Жаром пышущая, взорвалась вдруг она:

- Ах, ты, пакостник! Наслужился немцам, изменник. Теперь спрашиваешь, что с тобой делать будем? Да моя бы воля, так я б тебя вверх ногами повесила... Надийка — она всегда такая была. По той причине, бабы говорили, что замуж ее никто брать не хотел. Потому и в партию вступила, а уж когда она партийной сделалась, то тем более — кому ж охота партийную жинку иметь?

- Тихо, Надийка, — оборвал ее Омелько, расхаживая по комнате и припадая на ногу, раненую еще в гражданскую. — Тут дело серьезное. Ничего, Кость, мы с тобой сделать не можем, не в нашей это компетенции. Отдадим, кому надо, и все. Эй, Пилип, — крикнул он хлопцу, что сидел на крыльце, — позови-ка сюда того капитана, что у Карпенков наставом живет. Скажи ему... Ну, сам понимаешь. На твоё счастье, Кость, как раз у нас в селе капитан из эмгебе, он-то знает, что с тобой делать. А Надийка, хоть и слишком злится — ни к чему это — а ее тоже можно понять. Натворили вы тут без нас делов, людей погробили, вчера только похоронили их на майдане. А сволочь ваша полицейская далеко не уйдет. И тут мы расквитаемся не только с ихними семьями, а и с родней...

- С какой родней? — спросил Кость. — С гнатовой или с надийкиной? Надийка опять вспыхнула, как порох:

- Ты о своей родне позаботься, прислужник немецкий. Кто ты такой, чтоб меня братом Гнатом попрекать?

- Да, Кость, мы и сами разберемся, где чья родня. Где гнатовая, где надийкина, а где и твоя. Тебя не позовем, не спросим. Потому что, во-первых, далеко ты отсюда будешь, а во-вторых, нам твои советы...

- Ладно! — махнул рукой Кость. — Сами и разбирайтесь. Только вот засвидетельствуйте, что сам я пришел. А у меня дело есть к Семену...

- Говори, Кость, — подставил ухо Семен.

— Хозяйство надо тебе передать. Вытащил Кость из торбы цыдулки да тетрадки.

— Когда немцы подрапали, я весь хлеб, что оставался в амбаре, свиней с фермы да легкий инвентарь по дворам раздал. Ждали, что немцы при отступлении все жечь да громить станут... Бери, тут у меня все расписано. Семен жадно схватил тетрадку.

— Это здорово, Кость. За это спасибо. Нам твоя писанина пригодится, нам срочно хлеб со дворов надо собирать для фронта, для победы.

— Да вы не все забирайте! Не оставьте людей без хлеба, как в тридцать втором. Эти слова Надийку так возмутили, что она аж

задохнулась и сказать ничего не могла. А Омелько:

— Не учи нас, Кость! Не советую.

— Самозванец! — выпалила, наконец, Надийка, нашла нужное слово.

— Не самозванец. Люди меня выбирали, как и Семена, и люди те же самые.

— Э, Кость! Я тебе зла не желаю и спасибо тебе, а только ты себя со мной не ровняй.

— Я и не ровняю. Я-то хозяйство сберег, а что ты с ним сделаешь, еще неизвестно.

— Верно Семен говорит, — вставил Омелько.

— Он немцев не кормил.

— Я немцев кормил? Ну да, кормил, так разве их одних? А бабам с пебятишками есть надо было? Да если бы я немцам хлеб не давал, они бы село сожгли. Вам этого хотелось? Баб с детьми постреляли бы или в Германию увезли. Это вам нужно было, чтоб на пустое пепелище вернуться?

— Ты, Кость и до немцев чересчур умный был. Вот ведь— выводили мы умников, да не всех вывели и видать не тех кого надо: тебя проглядели.

- Омолько - взмолился Семен, - дай договорить с ним, времени у нас мало...

Они сидели, а Кость у стола стоял, и при его росте надо было в поясе сгибаться, а лица за бородой не видно было, только глаза поблескивали.

— Слушай, Семен. Ты, наверное, знаешь, что колхоз так и оставался колхозом, только назывался иначе: земельная громада. Немцы не дураки были, колхоз распускать. Коров громадских у нас не было, вы же их в сорок первом на восток погнали, и где они

теперь?.. Ну, помолчите, пожалуйста. Шестнадцать коней оставалось, трех немцы реквизировали, двух — полицаи, одну

кобылу в район забрали, в земельную управу, три коня подошли, пять новых кобыл прибыло из приплода. Двенадцать было

перед тем, как я из села ушел. Четверых полицаи с Дзюбой -старостой угнали. Восемь во дворах стояло, здесь тоже расписано.

— Так, хоть это есть. —Бугая племенного из Германии получили было и такое — хороший бугай, сентимен... симментал. Сберегли его, у Касьяна рябого на Кулябковке оставил. А вот — деньги громадские..

— Какие еще деньги?

— Всякие. Немецких оккупационных марок девяносто шесть, одна за десять рублей шла. Украинских карбованцев тысяча сто пять...

— Это нам ни к чему.

— И советских две тысячи пятьсот три, еще и сорок три копейки...

Оживилось сельское начальство:

—А ну-ка! Какие новенькие?

—Ясное дело, фальшивые.

— Но от настоящих не отличить.

— А что за украинские? Тьфу, гадость!

Тут капитан в сельсовет вошел, молодежавый, свежесбривший, профессионально молодежавый и веселый. С ним два солдата с голубыми погонами.

— Голову немецкого задержали? Хорошо!

— Не задержали, сам я пришел. Пусть подтвердят.

— Все, как положено, сделаем, протокол составим...

— Да мне сначала надо дела Семену передать.

Прокашлявшись, опять вступил в разговор Омелько:

— Видишь, какое Дело: не может Семен у тебя дела принимать, не имеет такого права он тебя признавать.

— Пусть не признает, а хозяйство примет.

— Что за деньги? — спросил капитан.

— Да он же. Кость, принес.

— Запишем: при задержании изъяты деньги, присвоенные гражданином...

— Не присвоенные. Я же сам их сберег и принес. Это громадские деньги. то есть колхозные, их надо в колхозе оставить.

Советские, конечно...

— Не положено. В район сдать надо, там решат. Если сочтут нужным, передадут колхозу.

— Вы хоть запишите, что я их сберег и сам сдал.

— Да вам какая разница? Срока это вам не убавит и не прибавит.

— А зачем мне слава такая, что я деньги громадские присвоил?

— Вы что же, считаете, что немцам служить лучше, чем деньги воровать?

— Ничего я не считаю а в чем виноват, в том и винюсь. Чего не делал за то отвечать не буду.

— Вы так думаете? Да бросьте! У нас закон гуманный: сроки по статьям не плюсуются. Дается один наибольший срок, а его вы и так, и эдак получите.

— Товарищ капитан, позвольте ему вопрос задать, — улыбнулся лукаво Омелько. — Скажи, Кость, когда сбежал с полицией, деньги с собой брал?

— За эти деньги ее брат, — Кость указал на Надийку, та снова загорелась, но при капитане ничего сказать не могла.

— Гнат чуть не убил меня. За то, что с собой не взял, в селе спрятал. А ушел я от них, когда увидел, что наши в этот раз насовсем пришли.

— Кто для тебя наши, Кость?

— Ну, ваши, ваши — красные, советские, русские. Могло ведь случиться опять, как весной было: пришли и сразу от ступили.

— Тогда б ты деньги не отдал?

— Конечно, нет. Тогда бы мне дальше пришлось хозяйство вести.

— Хитрый ты, хохол, Кость, а советскую власть не перехитришь.

— Ох, и болтливый же вы народ, болтливый и вздорный! Хватит лясы точить, ближе к делу.

— Что ему будет, товарищ капитан? — поинтересовался Семен.

— Это суд решит. Могу сказать, что вышки не будет, если не с оружием в руках. Скорей всего, десятку получит.

— Пусть, — сказал Кость. — Десятку, так десятку. Я дольше жить собираюсь. Вот что я вспомнил, Семен. Кладовую, крайнюю отсюда, срочно ремонтировать надо — стреха протекла.

Серую кобылу, что у старого Кизимы стоит, ветеринару покажи, огиривский Иван ее начал только лечить, да вот, запартизанил и его расстреляли. На третьем поле подсолнухи стоят неубранные, сегодня шел мимо, увидел...

— Довольно! Ваши фамилия, имя, отчество?

— Нечипоренко Константин Иванович... Бороны на пятом поле у лесополосы остались...

— Не отвлекайтесь, гражданин Нечипоренко. Год рождения?

...Когда уже вышли они из сельсовета и в бричку садились, обернулся Кость и крикнул:

— Эй, Семен! Если в кладовой опять крысы за ведутся, возьми черного кота у деда Охрима, он их подавит.

— Ладно, Кость, возьму кота. С богом!

— Отправился Кость в далекую дорогу. Вы же его знаете. — он и следователя захочет уму учить, и отхватит полную десятку.

А кто из них дурень — наш Кость или ворошиловский Микита, — в

этом еще надо разобраться. Мало кто из наших «чернорубашечников» вернется с того берега Днепра. Но Микита вернется да еще и с медалью — после того как до Берлина дойдет. А дома его все равно арестуют и получит он точно такую же десятку, только на два года позже. По том его уголовники зарежут где-то в северном лагере. А Кость проживет еще долгую жизнь, но далеко от родного села. Будет так, что насобирает Тетьяна со своей ланкой больше всех буряков и лучшей ланковой станет даром, что муж в лагере, открестится она от него. К тому же хорошо петь будет в самодеятельности и станет известным в районе человеком, в Киев с хором поедет, потому что больше никто не сумеет так высоко вытянуть «Сталин навеки нам жизнь подарил», а когда умрет Сталин, никто не сумеет так высоко вытянуть про партию, И когда уже у Костя срок к концу подойдет, напишет она ему в письме, что ты, мол, лучше не возвращайся домой, позаботься о семье, не напоминай людям, кто твоих детей отец. Пусть они, дети, живут счастливо, как все советские люди, и пусть все дороги будут им открыты. Так и поступит Кость, Выйдет на волю и поселится там же, на Воркуте, новой семьей обзаведется, все с начала начнет, и никто никогда не увидит его в родном селе.

ЖУЧОК. (Сентиментальные воспоминания о маленькой собачке)

Кто поймет заветную мечту и неотвязное желание мальчика из коммунальной квартиры иметь свою собственную собаку? Только мальчик из коммунальной квартиры,.. И не какую-нибудь злую овчарку, чопорного дога или глупого пуделя. Нет — простую дворняжечку, добрую и ласковую, с блестящими глазками, трогательно-смешной "мордочкой, забавным виляющим хвостиком, послушного и преданного мохнатого друга. Впрочем, я немного преувеличил. Это была не классическая советская коммуналка с длинным общим коридором и множеством жильцов. В нашем новом многоэтажном доме были квартиры в три и четыре комнаты. Каждую трехкомнатную квартиру занимала одна семья, а четырехкомнатную — как правило, две семьи. Я сказал, как правило? Да, я помню единственное исключение

— в четырехкомнатной квартире, на четвертом этаже жил мой ровесник Марат с папой, мамой и бабушкой. Его папа был парторгом большого, известного всему Союзу завода, который находился на противоположном конце огромного города. Поэтому он, то есть маратов папа очень редко бывал дома, зачастую ночевал на заводе. В этой квартире комнаты были непривычно полупустыми, не как в других знакомых мне семьях. Особое впечатление на меня производил папин кабинет, там стоял лишь большущий письменный стол да несколько стульев и книжный шкаф. Стол стоял не так, как обычно: он был отставлен от окна, а стулья помещались между столом и окном. Значительно позже я узнал, что так ставят столы в служебных кабинетах больших начальников.

Кажется, я отвлекся, но не буду зачеркивать, сведения об этой странной квартире еще понадобятся в моем рассказе. Итак, я был мальчиком из квартиры, занимаемой двумя семьями. Пока мы в ней жили, соседи несколько раз сменились, и мои родители неплохо уживались со всеми, но, разумеется, о собаке не могло быть и речи. Только в одиннадцать с лишним лет познал я великую радость дружбы со своей собакой. Дорогой читатель, не улыбайся, не смейся над сей выспренностью и сентиментальностью. Если на склоне лет согревает мне душу собачья преданность, то что говорить обо мне тогдашнем — о единственном в семье ребенке, самолюбивом, нелегко сходявшемся с другими детьми!

И уж вовсе я рискую быть непонятым, если скажу, что первая моя дружба с собакой пришлось на самое суровое в моей жизни время. Да, да, речь идет о

войне, об оккупации. И тут мне слышатся возмущенные голоса: война, мол, тяжкое испытание для народа... и что там еще? Ах, да — чудеса патриотизма и героизма, когда все, как один... А он! О чем он вспоминает? О собаке! Но, дорогой читатель, если тебе не интересно, не созвучно, — не читай ради бога! Заверни в этот листок минтая — все какую-то пользу тебе мой рассказ принесет. А я дождусь другого, кто меня поймет.

Итак, в сорок первом мне исполнилось одиннадцать лет — вполне сознательный возраст. Значит, успел я попасть к числу тех, чья жизнь разбилась на три эпохи: до войны, в войну и после войны — эпохи, несоразмерные в масштабе астрономического времени, но равные по личным впечатлениям и переживаниям. Впрочем, первый военный месяц для меня мало чем отличался от «до войны». Я провел его в пригородном санатории для ревматических детей. Ангины, перенесенные в младенчестве, оставили какие-то таинственные шумы в сердце; я их несколько не ощущал, но они давали право на бесплатную путевку. Наша воспитательница, толстая и добрая, но немного вздорная Анна Абрамовна говаривала нам не однажды: «Нет, вы только подумайте, ребята! В какой другой стране дети могут бесплатно лечиться и отдыхать в санатории?» Это был разительный аргумент в пользу советской страны и социалистического строя. Ни Анна Абрамовна, ни мы никогда ни в каких других странах не бывали, но были абсолютно уверены: не могут! Ни в какой другой стране! Ведь все другие страны капиталистические, а наша единственная — социалистическая. И самая большая, и становится еще больше.

Год назад в пионерском лагере лектор из города закончил свой доклад словами (он к концу доклада припас нам сюрприз):

«Да здравствует Советский Союз уже не двенадцати, а шестнадцати Советских Социалистических республик!» О, как возликовали мы все, даже те, кто и не слушал доклад! В капиталистических странах дети и все люди завидуют нам и мечтают добровольно к нам присоединиться. И вот уже Добровольно присоединяются...

В санатории было пять или шесть групп, составленных по возрасту и по степени заболевания. В двух группах были по-настоящему больные дети, а в остальных — такие как я. В моей группе — третий, четвертый, пятый классы — дети были, как дети, разве, что поспокойнее, вдумчивее и начитанней, чем в пионерском лагере. В память врезались многие лица, но лишь несколько имен. Были в группе две хорошенькие сестрички — погодки: меньшая, Юлька, черноволосая, разговорчивая и бойкая, а старшая. Женя, беленькая, молчаливая и застенчивая. Обе хорошенькие сестрички мне очень нравились, особенно Женя, и кажется, впервые я захотел подружиться с девочками. Ничего из этого не вышло: когда мне удавалось заговорить с Женей, она краснела и из нее невозможно было выдавить ни слова, так что и сам я быстро терялся, не зная, что еще сказать. С Юлькой, напротив, ничего не стоило болтать о чем угодно, но так же охотно и много разговаривала она со всеми другими мальчишками. В палате мне запомнились Сталик — уменьшительное от Сталина — и Ролик — уменьшительное от Роальда, наверное, в честь популярного тогда Амундсена. Сталик отлично лепил из пластилина фигурки различных животных, а Ролик был самым настоящим вундеркиндом и знал все на свете. Но большую часть срока путевки я провел в изоляторе, сильно простудившись. О причине своей болезни я не сказал ни воспитательнице, ни врачу, ни даже маме, да и сам осознал ее много лет спустя. Дело в том, что на территории санатория еще до нас (мы приехали в начале июля) была выкопана и накрыта длинная траншея — бомбоубежище. Июль был дождливый, в траншею натекла вода и пользоваться убежищем было невозможно, но, к счастью, нас не пытались

бомбить, ночью до нас доносились далекие разрывы — бомбили город. За неделю до моей болезни мы вдвоем со Сталиком (ревматические дети!) долго бродили по траншее в полной темноте по глинистому грунту и по колено в холодной воде. Тоскливо было мне одному в изоляторе. Из открытого окна доносились веселые крики моих товарищей. Издали я угадывал по светлым платьицам хорошеньких сестричек и понимал, что падаю в их глазах: болеть в таком возрасте да еще летом и без всякой видимой причины не престижно. Из клуба слышались басистые голоса мальчишек из старшей группы, разучивавших песню «Эх, махорочка, махорка!», а какая-то девочка пела под баян что-то совсем новое: «Пусть ярость благородная вскипает, как волна»... Иногда к моему окошку подходили Сталик и Ролик, и пока кто-нибудь из старших их не прогонял, мы подолгу обсуждали события, современниками и свидетелями которых довелось нам стать. Происходившее было не очень понятно, но мы умели смотреть вглубь.

— Что же это получается? Красная Армия отступает?

— Нет, она не отступает, а передислоцируется.

Вот какие слова знает вундеркинд Ролик!

— Ну да, это не отступление, а заранее спланированная перегруппировка войск. Мы со Сталиком тоже кое-что знаем.

— Наши отойдут на старую границу, где уже приготовлены укрепления, там немцев остановят и погонят назад.

— «Но от тайги до британских морей Красная Армия всех сильнее!».

— Как сказал Ворошилов: «Ни одной пяди земли не отдадим...».

— Нет, Климентий Ефремович Ворошилов сказал: «Ни одной пяди чужой земли мы не хотим, но и своей земли, ни одного вершка своей земли не отдадим никому».

— Ты смотрел кино «Если завтра война»?

— Но пока что бои идут все-таки на нашей территории. Наши оставили Львов и Минск.

— Минск — это по эту сторону от старой границы.

— Ну, это не надолго!

— Это не может быть надолго!

— Не может быть!

— Красная Армия не пустит к нам фашистов.

— А вот когда она перейдет в наступление и вступит в европейские страны, там начнется всенародное восстание.

— Да, пролетарская революция. Рабочие только этого и ждут.

— А здорово будет! В Союз войдет Польская Советская Социалистическая республика!

— И Германская Советская Социалистическая!

— Потом Французская Советская!

— Потом Итальянская!

— Потом Английская!

— Нет, Великобританская Советская Социалистическая республика!

— Будет Всемирный Союз Советских Социалистических республик!

— Да, во главе с товарищем Сталиным!

— «Но мы еще дойдем до Ганга, но мы еще умрем в боях, чтоб от Японии до Англии сияла Родина моя».

Вот какие стихи знает вундеркинд Ролик!

В Пальме чувство вались благородная, хотя и не совсем чистая кровь. С виду она была почти настоящим пойнтером, белая, в серых яблоках, вислоухая,

длинноногая, но уменьшенного роста и излишне грузная (знатоком собачьих пород я не был и повторял суждения старших мальчишек). Неведомый же нам папа щенков породистостью явно не отличался. Представить его внешность было совершенно невозможно, так как щенки были очень разными, притом ни один из них не походил на мамашу. Щенка покрупнее звали Белкой. Совершенно дворняжная Белка, вся, действительно, беленькая, от торчащих ушек до кончика хвоста, пушистая, с задорным красным носиком, всегда была веселой и жизнерадостной. Другой щенок был маленьким хилым уродцем с кривыми, словно у таксы, лапами, совершенно черный, с гладкой шерстью и унылой, постоянно скулящей мордочкой. От благородства матери у него только и осталось, что несоразмерно большие вислые уши. Малыши назвали его сначала Жучкой; свою ошибку они поняли лишь тогда, когда щенок стал задира у столба заднюю лапку. С тех пор он стал Жучком.

Когда я впервые увидел Пальму и ее щенков, им было примерно два месяца. А увидел я их, вернувшись из санатория. Половина подвала нашего подъезда вместе с подвалом соседнего подъезда издавна составляла большое бомбоубежище, другую половину всегда занимал склад какой-то геологической экспедиции. Склад почти постоянно был закрыт и охранялся сторожами, сидевшими на первом этаже у лестницы, ведущей в подвал. Пальма принадлежала раньше начальнику то ли склада, то ли экспедиции; собираясь эвакуироваться, он привел ее со щенками в подвал нашего подъезда и здесь оставил. Наверное, поэтому в немолодых уже собачьих глазах Пальмы таилась тоска, порой она вытягивала морду вверх и долго, протяжно выла. Около собачек постоянно толпилась дошкольная малышня и я поначалу равнодушно проходил мимо.

Я не сразу понял, что вдруг так изменило привычный облик города, оказалось — это всего лишь бумажные полоски, которыми крест-накрест была оклеена каждая шибка всех без исключения окон. Вечерами город погружался в сплошную темень. Фонари не светили, а окна домов были затемнены так, что свет сквозь них не пробивался. Если же где-нибудь пробивался чуть-чуть, то со двора или с улицы дети принимались кричать. «Третий подъезд, пятый этаж, затемните окно!». К ним присоединялись и взрослые.

На здании Красной Армии появилось огромное, во все три этажа полотно «Три богатыря». Умелый живописец воспользовался васнецовской композицией и его лошадьми, на место Ильи Муромца посадил маршала Тимошенко, на место Добрыни — Клима Ворошилова, а на место Алешы Поповича — маршала Буденного (впрочем, может быть, и наоборот). Картина провисела до тех пор, когда все здание было разрушено прямым попаданием немецкой бомбы.

Незаметно в повседневный быт вошли налеты и бомбежки — ничего особенного, если, конечно, бомба не попадает прямо в дом, где ты живешь. По звуку сирены мы спускались в подвал и сидели там до отбоя, прислушиваясь к рыку самолетов, разрывам бомб и выстрелам зенитных орудий. Мальчишки после налетов собирали осколки зенитных снарядов и хвастали тем, что во время бомбежки выбегали на улицу.

Город помешался на поимке шпионов. С трамваев были сняты таблички с указанием маршрута, остались только номера. Ходили рассказы об удивительных примерах бдительности и зоркости простых советских граждан. Один бдительный гражданин, зайдя в общественный туалет, услышал, что в соседних кабинках переговаривается по-немецки или, во всяком случае, не нашему. Этих людей задержали, проверили, оказалось: немецкие шпионы. Еще один немецкий шпион и к тому же диверсант настойчиво добивался у

прохожих, как прейти к кондитерской фабрике. Задержали, проверили, оказалось...

Сначала мне захотелось приручить хорошенькую, веселенькую Белку. Но Белка охотно бежала за каждым, кто ее поманит, предпочитая всегда того, кто даст ей кусочек повкусней. Все три собаки скоро привыкли ко мне и сопровождали меня, когда я выходил из дому. Белка с радостным визгом забегала вперед, потом возвращалась, или, останавливаясь, ждала меня, задрав кверху красный носик. Рядом со мной степенно, не теряя достоинства, трусила рысцой Пальма. А Жучок плохо бегал на своих кривых лапах, он отставал от нас и жалобно скулил. Приходились Орать его на руки или класть за пазуху, и было это не очень приятно, потому что от Жучка — только от него — сильно пахло псиной.

Собаки были общими, и когда нас встречали другие мальчишки, начиналась игра переманивания. Каждый из нас кричал: «Пальма—Белка—Жучок!». Собаки бросались то к одному, то к другому: выигрывал обычно тот, кто был настойчивее и чаще всего не я. Если уж собаки отбивались от меня, то поначалу все втроем. Однако со временем стало иначе. Мальчишкам удавалось переманить Пальму и Белку, Жучок же упорно продолжал бежать за мной. Это стало настолько привычным, что мальчишки звали к себе только Пальму с Белкой, зная, что Жучок все равно меня не оставит. С раннего утра Жучок поджидал меня на лестничной площадке. Куда бы я ни шел, он бежал следом за мной. Мне приходилось класть его себе за пазуху в очередях (чтобы не затоптали люди), на шумных улицах (чтобы не угодил под машину). В сентябре, когда я пошел в школу, Жучок провожал меня до входа, забегал вовнутрь и несколько раз пытался проникнуть в класс. А я и не помню, чтобы часто в те дни кормил его. Жучку нужны были не мои подачки, а я сам. Он радовался мне, он тосковал без меня. За что же? За что он так полюбил меня?

Недавно я прикинул, что из шестидесяти лет своей жизни не менее пяти (непрерывно, по 24 часа в сутки) провел в очередях — за хлебом, за продуктами, за промтоварами, за собственной зарплатой, в столовых, в железнодорожных и аэрофлотских кассах, в кинотеатрах и музеях, в приемных всевозможного спесивого начальства по служебным и личным вопросам. Своим гражданством я был пожизненно присужден к стоянию в очередях. Первыми в жизни были очереди за хлебом — в голодном начале тридцатых годов, тогда еще я стоял с родителями, потом уже сам во время финской войны и вот теперь опять. Чего не услышишь в очереди? Сведения более важные и точные, чем в сводках Совинформбюро. Что если бои идут на энском направлении, то значит: Энск уже сдан немцам. Что сообщения об оставлении города запаздывают не меньше, чем па неделю. Что немцы намного ближе к нам подошли, чем следует из сводок. Что однажды мы проснемся утром и увидим их на этой вот улице...

Не надо думать, что в те времена люди молчали или повторяли патриотические лозунги. Высказываться было опасно, боязно и страшно молчать — противно человеческой натуре. Случалось, что разговорчивых прямо из очереди уводил милиционер, с ним Некто в штатском, и те, на чьих глазах это происходило, умолкали. На время, до следующего дня. Чем ближе подходил фронт, тем громче высказывалась очередь. Мимо очереди по улице на телегах и грузовиках везут домашний скарб драпальщики, эвакуируемые. Это более всего привлекало внимание очереди — у кого сочувственное, у иных враждебное...

— Подрапали!

- Все равно всем не эвакуироваться.
- Чтобы такими темпами вывезти население города, понадобится три года.
- Я и не хочу. Куда я поеду? Кто там нас ждет?
- Немцы еще и не дойдут до нас.
- Вы так думаете? Ха-ха.
- Почему не дойдут, у них такая техника!
- Да, все на машинах, на мотоциклах, а наши пехом да на кобылах.
- Не могу слушать радио. Сколько людей убивают под Одессой!
- Это же потери немцев. Свои потери у нас не объявляют.
- Все равно — люди.
- Вы думаете, наши потери меньше?
- Я ничего не думаю и вам не советую.
- Еще чего! Человек не может не думать!
- Едет, едут, куда они едут?
- «Киев не столица, Днепр — не граница, Урал — не убежище!»
- Это все евреи едут, им нельзя оставаться.
- Не одни же евреи.
- Еще коммунисты и всякое начальство.
- Пусть пузатые начальники уезжают, а рабочему человеку хуже не будет.
- Хуже не бывает.
- Как вы рассуждаете!
- А как?
- По-шкурному, вы о России подумайте.
- Зачем мне о России думать? Я думаю об Украине.
- Вы считаете, что Украине по пути с немцами?
- Ничего я такого не думаю. Просто здесь не Россия, а Украина.

После войны я не слышал таких громких разговоров до самого пятьдесят шестого.

Первого сентября я пошел в школу, в четвертый класс. Многих прежних одноклассников я уже не увидел, они эвакуировались, зато появились новенькие. Пока мы учились в течение полутора месяцев, одни ученики приезжали, другие уезжали, а иные просто прекращали учебу и нас становилось все меньше. Сначала три параллельных класса реформировали в два, затем — в один, а численность учеников продолжала убывать. На пение и физкультуру нас сводили вместе с третьим классом. Наконец, однажды утром мы услышали: «Ребята, идите домой. Школа закрывается». Из сводок ничего невозможно было понять. А в очереди говорили о невиданном окружении советских войск где-то в районе Полтавы. О том, что фронта уже нет, все разваливается и немцам нужно время лишь для того, чтобы доехать на своих мотоциклах до нашего города. Трудно было не поверить этому, потому что на улицах города появлялось все меньше военных. Армия уходила без боя, видимо, боясь нового окружения, а по радио ежедневно раздавались клятвенные заверения в том, что город сдан врагу не будет. Я не военный историк, возможно, было не совсем так или совсем не так. Я пишу о том, как воспринимали события горожане. Полвека прошло, а я до сих пор вижу время от времени один и тот же сон. Снится мне, что сейчас, сегодня мы живем, занимаемся своим делом, растим детей и внуков, и ничего не знаем о том, что где-то совсем близко от нас фронт. Что в этот самый момент на окраину города, в котором мы живем, вступает враг, а мы ничего, ничегошеньки не знаем, я просыпаюсь в смятении, радуюсь, что это был только сон. Но тут приходит в голову мысль: а сон ли это? А явь отличается от сна? Я опять просыпаюсь и опять приходит в голову мысль... И так много раз.

Теперь я был свободен целыми днями, товарищи разъехались—кто в эвакуацию, кто в сельскую местность, к родственникам. Я один бродил по обрывистым пустырям — их было много вблизи нашего недавно застроенного квартала. Жучок был неотлучно со мной. Теперь мне было стыдно вспоминать, как я еще недавно досадовал, что не Белка, а Жучок привязался ко мне... От дома за мною обычно увязывались все три собаки, потом Пальму и Белку что-нибудь отвлекало, мы оставались вдвоем с Жучком.

Жучок уже стал моей собственной собакой. Соседа мобилизовали, а соседка с маленькой дочкой еще до войны, в начале лета уехала к родственникам куда-то на Дон и там осталась. В квартире теперь жили мы вдвоем с мамой, и я наконец сумел уговорить ее взять к себе Жучка.

В городе вдруг появилось много дешевого мяса. Скот и свиней отправляли на восток, молодняк кололи — он бы все равно погиб. Поросятины было так много, что коммерческую цену стали сбавлять, довели до твердой, а потом еще понизили. Жучку доставались все косточки, которые он сгрызал без остатка, а я тайком от мамы подкладывал ему еще целые куски чистого мяса.

Жучок уже не казался мне уродцем, он отъелся и стал маленьким, чуть больше хорошей кошки, но крепеньким собачонком, все реже скулил, рядом со мной постоянно вилял хвостиком («Жучок! Хвостик заболит!»—говорил я ему) и поднимал ко мне милую, черную мордочку, своими блестящими, словно стеклянными, глазками ловил каждое мое движение.

У меня появилась некоторая неприязнь к Белке — в ней я подозревал виновницу прежней хилости Жучка: бойкая и энергичная, она всегда успевала и свою порцию съесть и отобрать еду у братца. Жучок быстро научился приносить палку и обещал стать послушным, смышленным псом. Интересно было наблюдать за ним и узнавать о собачьей жизни то, о чем я раньше и не подозревал. Например, как собака «подтирает попу», елозя ею по траве (никто не объяснил мне тогда, что это — признак заражения собаки глистами). Или — о скверной собачьей привычке — выкатываться в дерьме или какой-нибудь дохлятине, после чего приходилось мыть Жучка с мылом... Я даже сочинял специально для Жучка песенки:

— Собакушки, браво, ребяташки! Где же ваши ушки?

— Наши ушки прямо на макушке, Вот где наши ушки!

— Собакушки, браво, ребяташки! Где же ваши ножки?

— Наши ножки скачут по дорожке, Вот где наши ножки!

На пустыре я распевал во все горло, не опасаясь, что меня кто-нибудь услышит (пел я очень плохо). Иногда Жучок тихонько подвывал мне. То была лучшая пора нашей дружбы.

* * *

В городе наступило безвластие... В течение многих лет, десятилетий не разрешалось вспоминать о том, что в эти дни происходило. Мне не разрешал мой внутренний цензор, так что до внешнего и дело не доходило. Не было советской власти, не было милиции, не работала радиосеть — связь с внешним миром прекратилась. Был поврежден водопровод, прекратила действие канализация, не стало газа. Затем взлетела на воздух электростанция, и город погрузился во тьму. Люди в форме лишь изредка встречались на улице и спешили скрыться от пристрастных расспросов горожан. Ощущалось лишь присутствие специальных отрядов, назначением которых было оставить выжженную землю. Дни сотрясал грохот взрывов, ночи освещало зарево пожаров. Пронесся слух о том, что в городе осталось много продуктов и промтоваров, но склады пищевых фабрик и торговых баз будут взорваны. Толпы людей ринулись туда, срывали замки, отворяли ворота, ломали двери и тащили, тащили все, что подвернется под руку. Изодня в день везли по улицам груженные тележки, несли на горбу кули и бутылки.

Не обходилось в толчее без человеческих жертв. В первые дни оккупации обнаруживали трупы на дне цистерн из-под спирта, под затвердевшим тестом в чанах хлебозавода.

А меня мама не выпускала из дома, и я принял участие лишь в ограблении того склада, что помещался в нашем подвале. Боясь быть затоптанным озверевшими взрослыми, я спустился туда к концу разбора. Не знаю, что оттуда тащили раньше. Я застал лишь кувшинчики со свиным жиром и веники (зачем они геологической экспедиции?). Кувшинчик из моих рук вырвал... в полутьме я даже не разглядел кто. Но веник я принес домой и вручил маме — то был мой единственный трофей.

Половина квартир нашего подъезда обезлюдели и жильцы верхних этажей стали переселяться пониже, боясь бомбежек и ближе к источникам воды, которую теперь приходилось носить из колодцев и родников, ближе к помойке, куда приходилось выносить ведра. Переселились и мы с мамой с восьмого этажа на четвертый, как раз в квартиру Марата. С нами было еще поселилась одна женщина с дочкой, но потом она облюбовала себе квартиру в другом подъезде, и мы остались вдвоем. Четыре комнаты были нам ни к чему, мы обосновались в двух, но мне достались все книги, которые оставили прежние хозяева. Неожиданно я оказался владельцем такого богатства, о котором раньше не мог и мечтать — Дюма, Майн-Рид, Конан-Дойл, Вальтер Скотт и главное — Владимир Беляев. До войны эти книги невозможно было купить, их обычно привозили из Москвы. В библиотеке за ними выстраивались длинные очереди, да мне, третьекласснику, библиотекарьша их вообще не выдавала, говорила: рано еще, вот перейдешь в четвертый класс. Теперь я, наконец, добрался до них и стал читать запоем. Я даже перестал гулять с Жучком на пустыре. Большую часть дня проводил на балконе (в старой квартире балкона не было).

Стояли сухие, теплые осенние дни, я сидел на старой кушетке, одной рукой держал книгу, другой — трепал за уши приставшего Жучка, чесал ему пузо, позволяя покусывать руку.

* * *

Я сидел на балконе, поглощенный несчастной судьбой профессора Доуэлла, Жучок у моих ног догрызал старый тапок. Внезапно он вскочил на ноги и громко завизжал, просясь на улицу, лишь недавно я обучил его этому. Но мне оставалось еще дочитать две страницы, и только потом я вышел с Жучком через комнату в коридор. Едва взялся за дверную ручку, где-то совсем близко, над самой головой раздался рев мотора и, прежде, чем стал слышен взрыв, задрожал под ногами пол, Мы с Жучком выскочили на лестничную площадку, за нами — мама с побелевшим лицом. Соседка, которую мы увидели на площадке, скомандовала: «Ложимся!» и все мы легли на цементный пол. Раздалось еще несколько взрывов, но уже не так близко. Под Жучком образовалась лужица, но этот раз я не стал тыкать в неё собачью мордочку.

Когда стало тихо, мы с мамой осторожно выглянули на балкон. Бомба попала в дом напротив, на той стороне улицы. Балкон был засыпан осколками стекла, кушетка была изодрана, а вся стена напротив того места, где я сидел, исковырена... Меня затряс страх.

Почему же я тогда не сказал маме и никому другому не говорил, что Жучок спас мне жизнь? Сейчас, спустя полвека, это трудно объяснить. Может быть, я сам осознал это позже, когда терял своего Друга. А возможно, и придумал. Ведь книжку я уже прочел и собирался идти за следующим томом, с «Властелином мира». К тому же во мне, откровенно говоря, назревало то самое желание, что и у Жучка. Не будь его, я все равно покинул бы балкон. Но когда — через минуту, через полминуты, через четверть?

После налета несколько дней и ночей мы провели в подвале. Днем ненадолго поднимались на свой четвертый этаж, далеко от дома не уходили. Налеты продолжались, чаще всего ночами, но наш квартал больше не задевали. Что люди делали в подвале? Разговаривали.

— Красная Армия оставила город, чтобы подтянуть свои силы, выровнять фронт, а затем вернуться...

— Не смешите, где ваша Красная Армия?

— Что же, по-вашему, ее уже нету?

— А сколько нас заверяли, что город не будет сдан!

— Все это одно вранье, ясно было уже в июле, когда оставили Киев.

— Где же наша непобедимая, где наш мудрый вождь?

— Какой еще вождь, усатый Еська?

— Да он в штаны наложил!

— Что же будет, когда придут фашисты?

— А ничего не будет, как жили, так и будем жить.

— Но они же фашисты!

— Ну и что?

— Они убивают людей!

— Не так страшен черт, как его малюют.

— Чего вы боитесь — вы что, большая начальница, коммунистка, еврейка?

— Она, может быть, не еврейка, а я вот еврейка, что же прикажете мне делать?

— Знаете, насчет евреев советская пропаганда преувеличивает: не может быть такого, что- бы всех...

— Нет, граждане, не верьте, немцы — культурная нация, это Европа.

— Пусть Европа, пусть культурная нация, а мы им зачем? Эта культурная нация так нас скрутит, что и по советской власти затоскуем.

— Ерунда, не скрутит! Вот комиссаров, коммунистов — да.

— А комсомольцев?

— Ну, комсомольцев слишком много.

— Коммунисты тоже есть разные, кого — так вынудили вступить.

— С ними тоже разберутся, не станут всех подряд...

— Да откуда вы знаете?

— Ниоткуда, просто мыслю логически, меня большевики не одурачили так, как вас.

— Сам дурак, не большевиками, так кем-нибудь другим одурачен.

— Граждане, не ссорьтесь, ради бога.

— Вот вы языки свои пораспускали, а вдруг Красная Армия вернется.

— Не смешите!

— Сейчас, что ни скажешь — все опасно.

— Нет: все равно — это может быть только на время, рано или поздно немцев прогонят. Россия устоит.

— Ну и пусть стоит Россия, а здесь Украина.

— Вы думаете, Сталин уступит Украину?

— А куда ему деваться.

— Так уже было в 18-м году.

— Что вы сравниваете? Тогда в Германии революция произошла и немцы сами ушли, а теперь никакой революции не будет, они знают, как за своего фюрера держатся...

— Украина еще самостоятельность получит. Как Словакия.

— И будет, наконец, Украиной, а не колонией Москвы.

— Да что Москва вашей Украине сделала?

— Многое! Тридцать третий год — это за тысячу лет не забудется.

— «Украина — страна плодородная, Москве хлеб отдала, сама голодная». В те дни я очень много слышал о тридцать третьем годе — незаживающей ране Украины, ее неутолимой боли. А в начале пятидесятых годов мои родственники из тех, кто всю жизнь прожил в городе, не имел в деревне близких родственников, а во время войны жил в оккупации, ровным счетом ничего не знали о тридцать третьем годе: они ничего не знали даже о сорок седьмом годе — не заметили голодных колхозников, копающихся в городских мусорных ящиках.

Дорогой читатель, я не владею методом соцреализма и не способен, и не хочу владеть им. Поэтому, что слышал, то и передаю, а в своей слуховой памяти уверен. Намного труднее мне вспомнить тогдашнее свое внутреннее состояние — как воспринимали эти взрослые разговоры мы, мальчишки, еще недавно мечтавшие о Всемирном Союзе Советских Социалистических республик? Могу уверенно сказать одно: мы чувствовали (не понимали, только чувствовали, что нас предали: не здесь, в подвале, а там, в Кремле. Жаль, что потом, в эйфории Победы это ЧУВСТВО не претворилось в ясное понимание.

Садился я писать о маленькой собачке, а получается — о большом предательстве.

Налеты не прекратили грабежей. Склады уже были опустошены, и толпы ринулись в государственные учреждения, вытаскивали оттуда письменные столы, диваны из кабинетов начальников, шкафы, стулья, чертежные доски. На время бомбежки оставляли мебель на улице, прятались, потом тащили дальше, если оставалось что. В первые дни оккупации можно было видеть там и сям смятые взрывами, побитые осколками шкафы и столы, они так и стояли на улицах и площадях, пока не были унесены на дрова.

Кто бомбил в эти дни город, чьи самолеты? Этого я не знаю до сих пор.

Не прекращались и поджоги. Недалеко от нашего жилого квартала стояли два высоких по тем временам здания — в 12 и 15 этажей, их даже называли небоскребами. Они были заняты проектными институтами, конструкторскими бюро. различными конторами. Здание, более удаленное от нас, горело несколько суток, освещая ночь. Другое, поближе к жилому массиву, дважды пытались поджечь, но мужчины нашего и соседних домов каждый раз отправлялись тушить пожар, чтобы огонь не перекинулся на нас. Я слышал лишь об одном случае, когда по горожанам, вмешивающимся в подобные акции, открывали огонь. Когда горело здание управления НКВД, из его подвалов раздавались крики заключенных, и жители окрестных домов повинувшись естественному человеческому порыву, пытались их спасти...

Вот уже несколько дней мы живем в оккупации, — в ином мире, при другом строе — был советский, социалистический, стал капиталистический, фашистский — а ничего не изменилось. Как не было электричества, так и нет, как не работал водопровод, так и не работает, как не действовал в последние дни городской транспорт, так и не действует. На некоторых зданиях по центральной улице опять висят красные флаги, только теперь — с черной свастикой. Опять на улицах много военных, но теперь — в зеленых шинелях, и говорят они по-своему, по-немецки — гортанно, картаво, но смеются, сморкаются и кашляют совсем по-нашему. Лица у них обычные, многие совсем неотличимые от наших, притом очень разные — есть похожие и на русские, и на еврейские, и на грузинские. Горожане по-прежнему ходят по улицам, и никто

их не хватает, никуда не тащит; есть в городе запретные зоны, но они и раньше были.

Горожане и солдаты пытаются разговаривать друг с другом, кто-то из горожан знает немецкий: живут ведь в нашем многонациональном городе и немцы, да и евреи, особенно пожилые, легко объясняются по-немецки. Многие же солдаты знают польский, а в нем немало понятных слов. Быстро складывается немецко-польско-украинско-русский волапюк, овладеть которым совсем несложно.

В первые дни солдаты особенно охотно вступают в разговоры — город достался им легко в этот, в первый раз — был лишь небольшой бой в предместье, какая-то советская часть все-таки задержалась на подступах к городу. Затем город был занят без единого выстрела. Поэтому солдаты беззлобны, хвастливы, в приподнятом настроении: скоро эта война завершится полной победой германского оружия под командованием мудрого фюрера, которому благоволит провидение. Как в Польше, как в Югославии, как во Франции. Скоро, скоро они вернутся к своим муттер, фрау и киндер. Многие с фотоаппаратами: их впечатляет бедность городских трущоб, захламленность дворов и улиц, развалины и пожарища, оставленные отступающим противником... Они сочувствуют горожанам, ободряют их: рабовладельческая сталинская империя доживает последние дни, в город приходит новый порядок, он приобщит вас к европейской цивилизации и культуре, все будет зер гут. Кажется, эти запыленные, усталые, но радостно возбужденные фронтовики, которые не воюют с гражданским населением, не стреляют в стариков, женщин, детей, искренне верят в свою освободительную и культуртрегерскую миссию. Молодые солдаты шутя задирают девушек: «Панинка, ком шпацирен!», девушки - комсомолочки кокетничают с молодыми солдатами (я уже не маленький, знаю, чем завершается подобный легкий флирт). А женщины с ярко накрашенными губами и распущенными на немецкий вкус волосами откровенно охотятся за офицерами, но и солдатами не брезгают.

На крыше соседнего подъезда установлено противозенитное орудие, на верхнем этаже поселились зенитчики — веселые, добродушные и вежливые парни, никак не притесняющие жильцов нижних этажей. Жильцы рады — это защита от мародеров, которые нет-нет, да находятся среди пришельцев: в семье не без урода. По вечерам оттуда, с верхнего этажа, раздается слаженное благозвучное пение...

* * *

Вот пишу я и физически ощущаю, как нарастает в моем читателе сначала недоумение, потом раздражение, а затем возмущение: что за идиллию он там изображает? Такого не было, потому что и быть не могло. Но я не говорю о всем, что было, всего мне не показывали. Говорю, как воспринималось, и не мной одним. После прочтения в советских газетах красочных (зачастую с каким-то сладострастным смакованием) описании неслыханных зверств, творимых разнузданными тевтонскими ордами, после кинофильма «Александр Невский» с явным намеком на современных гитлеровцев, где рогатые чудища бросают в костер младенцев, мы вдруг увидели обыкновенных и даже совсем неплохих людей. Потом-то я собственными глазами видел и расстрелянных и повешенных, но для этого были специальные люди и специальные части, для этого была и местная полиция из наших соотечественников, наших соседей. Но я клятвенно свидетельствую, что веселые, симпатичные парни-зенитчики никого не убивали, никого не грабили, никого не насиловали, а если случалось

пользоваться им нашими женщинами, то с их же доброго согласия и зачастую по их инициативе.

А почему я говорю, что они были неплохие люди? О, у меня есть безошибочный критерий! Плохой человек может побить собаку, но только свою собственную за ее родословную, ее выучку, а более всего -за уплаченные при ее приобретении деньги. Но плохой человек не стянет привечать бездомных, гладить Пальму, играть с Белкой, ласково трепать за уши моего Жучка...

А Жучку отошли золотые денечки, когда я его так щедро баловал его поросятинкой. Я сам давно не ел мясо, у нас хранилось несколько больших консервных банок свинины с горохом –мама успела запасти в коммерческом магазине (можно ведь было купить в десять раз больше запасов, но это строго осуждалось и даже преследовалось). Эти банки мы берегли на «черный день» и оказались потом правы. Пару раз мама доставала конину с павших коней, выяснилось, что это нормальное мясо. Но в основном питались запасенными крупами, подгнившей морковью, да попорченной кукурузой с неубранных пригородных полей. С первых дней оккупации мама стала мне говорить, что нам не следует держать в доме и кормить собаку, пусть она сама находит себе пропитание. «Собака же маленькая, — возражал я.—Сколько она съест?». " Ты еще будешь столько жалеть о каждом кусочке, который сегодня дашь ей, а не съешь сам». О, как она была права!

Жучок ночевал у нас в квартире, но дни опять проводил с Пальмой и Белкой. Добывал себе пропитание он плохо. Пальма и Белка успевали раньше схватить кусок, лежащий на улице или брошенный немцами. И не так уж хорошо, оказывается, относились к нему солдаты. Не однажды я наблюдал, как они подкармливали здоров , веселую Белку, отгоняя стареющую Пальму и Жучка, который рядом с сестрицей все-таки выглядел заморышем. Во мне вскипело возмущение: я считал (и считаю по сей день, что помогать следует в первую очередь слабым. - Но солдаты (впрочем, не все) руководствовались какой то иной логикой. Я вспоминал об этом позже, будучи студентом, рассказывал своим товарищам и совместно мы, комсомольцы начала пятидесятых годов пришли к выводу, что такова идеология нацизма: жить должен только сильный, здоровый. Как идеологизированы были мы сами.

Теперь я понимаю, что идеология нацизма не успела пустить глубоких корней в солдатской массе, (не говорю об эсэсовцах. С ними не общался и, слава богу). А в отношении к собакам сказывался просто здравый хозяйственный крестьянский подход: здоровую и сильную скотину надо беречь, хилую и престарелую— отбраковывать.

" Черный день» неуклонно приближался. Небывало рано началась зима, в начале ноября выпал густой снег и не растаял, потом ударили жестокие морозы. Наш дом не отапливался, кочегарка не действовала без электроэнергии. Люди ставили прямо в квартирах железные печки, выводили трубы в окна. Печки дымили, не согревали. Но, оказывается, можно спать в холодной квартире и не замерзнуть, если навалить на себя побольше одеял, теплых вещей, ковровых дорожек. Холодно лишь вылезать из такой постели. А ноги мне согревал еще и Жучок, раньше я никогда бы не подумал, что собака может быть такой теплой.

Мы с мамой еще не голодали, но чувствовалось недоедание — постоянно хотелось есть. В голову лезли изощренные гастрономические фантазии. Я по-прежнему много читал, и понял, что при голодном желудке русская классическая литература невыносима. Впрочем, пиршества мушкетеров тоже будили больное воображение...

С какого-то времени город начал вымирать. Первыми, еще до голода, умирали без лекарств больные. Потом, без молока,—маленькие дети. И здоровые на вид плотные мужчины средних лет.

Бывало, идет такой мужчина по улице, постепенно походка его замедляется, он останавливается, пошатывается, падает на землю и это — конец...

А теперь я попробую воспроизвести аргументацию немецкой военной комендатуры — высшей городской власти. «В городе острый недостаток продовольствия. Увы, это прискорбно, примите наши соболезнования, но голод — это ваша проблема. Вы глубоко заблуждаетесь, полагая, что оккупационные власти обязаны вас кормить. Они никогда нигде не заботились о пропитании местного населения— ни во Франции, ни в Югославии, ни в Норвегии, но там люди не умирали и не умирают от голода. А у вас такая плодородная, обильная земля и вы не можете сами обеспечить себе прокорм. Хлеб — рядом, в сельской местности. В первую очередь он предназначен немецкой армии и рейху, но хватит и вам, организуйте его куплю, доставку, продажу. Нечем доставлять, негде хранить, не на что обменивать?

Зачем же вы позволили большевикам вывозить технику, взрывать элеваторы, разрушать фабрики? Перекрыты дороги: да, перекрыты, вашими большевиками — рядом фронт. Единственная дорога на запад занята немецким транспортом и закрыта для местного населения? Такова военная необходимость, в вашем распоряжении остаются проселки и тропки. Злоупотребления коррумпированной полиции? Но это ваша полиция.

Тем, кто работает на нас, мы выдаем паек. Только им — разве не говорили большевики: кто не работает, тот не ест? В этом пункте мы с ними единомышленники. На всех вас нет работы в городе, но кто вас тут держит? Рейху вообще не нужны большие города на восточных землях. Вы можете ехать на работу в Германию — только не семьями, без детей. Или уходите в села, если вас там примут. Рейху вообще не нужно так много людей на восточных землях и голод только облегчает нашу работу (это не произносится, держится в уме). А впрочем, примите наши соболезнования...».

В один морозный и солнечный день в городе не стало евреев. Спустя несколько дней поползли слухи о том, что их уже нет на белом свете. Подавленные, приумолкли даже многие из тех, кто недавно злорадствовал: одно дело — притеснять жидов, глумиться над ними, иное — когда вот так сразу, всех до единого... Появлялось подозрение, что советская пропаганда не всегда врет и евреи— только начало...

Не стало в городе евреев и появились армяне. То есть они не появились, они жили в городе испокон века, но прежде не бросались в глаза, по-видимому их слабо отличали от евреев. Теперь они демонстрировали апатичным, дряблым славянам образцы предприимчивости в виде лотков, киосков, магазинчиков, ресторанчиков. Но ради справедливости и утоления национального самолюбия могу сказать, что самые большие комиссионные (а никаких других и быть не могло) магазины и шикарные рестораны, в которые не брезговали заходить немецкие офицеры, открывали все-таки славяне. Создавались потребительские кооперативы, в один из них внесла пай и мама. Помнится, за все время удалось лишь дважды воспользоваться им и купить по низким ценам один раз мороженые сливы, а в другой—соленые огурцы. Мы жили небогатыми запасами, продажей вещей и мебели, поначалу не своих, а из квартиры, в которую переселились. Кое-что — в основном книги — я притаскивал из опустевших квартир нашего подъезда; несмотря на печати и устрашающие надписи, тем же занимались все жильцы подъезда. Но книги, вещи, мебель продавались за бесценок и этот источник средств грозил скоро иссякнуть.

Я ведь обещал писать воспоминания о маленькой собачке, а приходится все время о другом. Но, если не о собачке, скажешь ты, читатель, то где же настоящие советские люди, патриоты, подпольщики? Что я могу сказать в ответ? Не свела меня судьба с ними. Обидно даже: ни одного подпольщика среди знакомых. Всех знакомых волновало одно: чего бы поесть? Понимаю, что недостойно это советских людей. Но позволю себе крамольное высказывание: даже советскому человеку нужно есть. И не общавшись с подпольщиками, не могу я объяснить ни тебе, ни себе: а что же ели они, кто их кормил?

Мой умненький песик все понимал, он не скулил, не повизгивал, когда я ел. Жучок садился передо мной, упираясь на широко расставленные передние лапы, и внимательно заглядывал мне в глаза, поднимая мордочку или кладя ее на мои колени. Я не выдерживал этого взгляда и потихоньку скармливал ему постную, плохо проваренную кашу. Замечая, мама начинала плакать. Я не понимал, что она недоедает ради меня и что я отдаю Жучку кусочки, которые она отрывала от своего рта. Я не понимал и выдерживал с ней отчаянные бои из-за Жучка. Но однажды мама пришла домой заплаканная и рассказала о том, что от голода умерла со своей старушкой-матерью ее подруга, немка по национальности (чуть позже все местные немцы были вывезены в сельскую местность, но мамина подруга до этого не дожила). Тогда я, наконец, решился. Под вечер, незадолго до комендантского часа я выставил Жучка из квартиры. Но в это время он привык бывать дома. К тому же я выставил его в сердцах, как никогда грубо, и страшное предчувствие охватило собаку. Жучок сначала скулил, потом стал подвывать и, наконец, закричал совсем человеческим голосом. Этого не могли выносить ни я, ни мама. Я вышел из квартиры, взял Жучка под брюшко, спустился вниз и выкинул его из подъезда на мороз. Он продолжал кричать на улице так, что было слышно на четвертом этаже, но затем утих — то ли куда-то убежал, то ли околел...

Итак, я предал тебя, мой маленький, вислоухий друг. В жестокий мороз я выбросил тебя, голодного, на улицу. Я не прошу у тебя прощения, потому что предательству прощения нет. Почему же я снова и снова прощал в дальнейшей своей жизни тех, кому я верил, кого любил, но кто много раз меня предавал? Тех, кто оставил меня оккупантам в разрушенном, опустошенном городе? Тех, кто после освобождения пришел мне позорный ярлык «проживавшего на временно оккупированной территории»? Тех, кто многократно продавал и своих собственных солдат, бездарно заводя их в "котлы", отказываясь от соотечественников, попавших в немецкий плен, и бросая их, освобожденных из фашистских лагерей, в свои лагеря на расправу охранникам и уголовникам...

Но хватит! Я так часто сбиваюсь на какую-то странную публицистику. Поговорим лучше о собаках. Я спрашиваю сам себя: ну, жил-был мальчик, была у него собачка и сдохла: жалко, конечно, собачку, и мальчика жалко, а при чем тут война? Да мало ли их, собачек, гибнет в самое мирное, самое благополучное время? Они подымают от чумки и энтерита, их травят злобные соседи, давят машины, ловят живодеры. При чем тут война, оккупация?

Я увидел Жучка на другой день. В четвертом подъезде в подвале до оккупации размещалась столовая. Большая столовая плита отапливалась без всяких премудростей дровами и углем. Жильцы дома варили на плите свою немудреную еду, грелись около нее. А на краю плиты, там, где она соприкасалась со стеной, нашли приют себе сонные и вялые от голода и холода кошки. Эти кошки служили постоянным предметом людских раздоров. Одни говорили: это негигиенично. Другие, притом большинство, возражали, какая уж тут гигиена, пусть их греются, они-то за что страдают?

Жучок лежал, окруженный со всех сторон кошками, звери тесно прижимались друг к дружке и мирно, обессилено дремали. Я взял Жучка на руки, он открыл глаза и едва заметно замахал кончиком хвоста, он меня простил. Я хотел положить его, как когда-то, совсем маленького, к себе за пазуху, но теперь он там не помещался. Я посадил его рядом с собой на скамью и прикрыл полой пальто. Жучок лег и продолжал дремать. У меня не было с собой никакой еды, я не ожидал увидеть Жучка, да если бы и ожидал, мне нечего было принести ему. Мой друг угасал на моих глазах, и я ничем не мог помочь ему...

Утром мама открыла последнюю хранившуюся у нас консервную банку с горохом и свиной. Этой банки должно было хватить нам на неделю или хотя бы на пять дней. Отобрав сегодняшнюю долю, мама слегка разогрела ее на чадающей печке, положила мне в тарелку три ложки — с верхом! — гороху и кусочек мяса величиной с куриное яйцо. Прекрасен был мягкий, обильно смазанный свиным жиром горох, а от мяса исходил совершенно одуряющий аромат. Себе же мама взяла кусочек, вдвое меньший, и я тотчас решил, что обойдусь таким же. Если половинку своего куска я отнесу Жучку, он оживет, он не будет вялым и сонным, повеселеет. Мама погрузилась в свои мрачные мысли, и незаметно для неё я крепко зажал в левой руке половину своего кусочка мяса. Мама только удивилась: как это я так быстро съел мясо? «Надо, — сказала она, откусывать маленькими кусочками и долго-долго жевать, не глотая. Тогда все усвоится».

Поев, я вскочил и направился к двери; одеваться не надо было, в квартире мы не снимали зимнюю одежду. Я сбегал вниз по лестнице, пересек двор, направляясь к четвертому подъезду. До самой столовской двери меня проводили Пальма и Белка, чуя дразнящий их чуткое обоняние запах. Я только сейчас заметил, что Палима вдруг сильно исхудала и одряхла, а пушистая Белка по-прежнему выглядела крепенькой и веселой. Мне было до слез жалко Пальму, но я не мог я отдать ей зажатый в кулаке кусочек мяса — на кухне меня ожидал Жучок, да и слишком велика была Пальма для такого маленького кусочка. Мне самому неудержимо хотелось его съесть, потому я бежал, боясь поддаться соблазну.

Жучка я застал на том же месте, в окружении тех же сонных кошек. Не мог я кормить мясом собаку на глазах у голодных женщин и их хнычущих детишек. Не разжимая левую руку, я подхватил Жучка правой, снова поставил его на скамью и прикрыл полкой. Потом запустил под полу руку и разжал ладонь. Жучок схватил мясо и в одно мгновение, не жуя, проглотил. Затем он долго облизывал мою руку. Помня мамино поручение, я подумал, что в следующий раз надо будет отщипывать мясо по волоконцу.

А Жучок в самом деле повеселел, вылез из - под полы, уставился на меня блестящими глазками и замахал — уже всем хвостом, а не его кончиком. Ему еще хотелось есть, но он не просил, он понимал, что больше у меня ничего нет; он все понимал, мой маленький песик. Ах да, ведь он давно не пил. Я сбегал во двор, подобрал ржавую жестянку, зачерпнул ею снег, растопил его на плите. Жучок попил, лег на скамье, не сводя с меня взгляда. Много ли нужно маленькой собачке? — подумал я. Если бы я каждый день мог приносить, хотя бы такой маленький кусочек мяса, Жучок бы жил.

Но в следующий раз мне не удалось обмануть маму. Она опять не увидела, как я зажал мясо в руке, но заподозрила неладное. — Что у тебя в руке? — спросила она, — а ну-ка, разожми кулак. Я не торопился сделать это, а она схватила мою руку, с силой разжала пальцы и заплакала навзрыд...

К Жучку я пришел в тот день с пустыми руками, напоил его, погладил. Песик смотрел на меня уныло и жалобно, я не мог его видеть таким, положил рядом с кошками и ушел. На улице я впервые отважился просить у солдат, это уже делали многие мальчишки, и им, случалось, везло. Впоследствии, бывало, везло и мне. Но в тот день, когда мне позарез нужно было хоть чем-нибудь покормить Жучка, я не достал ничего.

Первый встреченный мною солдат был совсем молодым парнем, почти мальчишкой на вид. Я стал перед ним и сказал жалобно:

— Пан, гиб брот!

Немец посмотрел на меня удивленно, раздосадованно, затем сделал свирепое лицо, отстранил меня протянутой рукой и произнес:

— Вег, вег, вег!

Да, ему было не до меня. Немец замерзал. Одеревеневшими красными руками он пытался оттереть побелевшие уши. На нем была тонкая шинелишка и обычный головной убор летней формы вермахта, наподобие нашей пилотки. Немец что-то быстро бормотал в сердцах, я уловил только «Русланд», «доннерветер» и «ферфлюкте». Это были проклятия. Мальчишка в немецкой форме, словно полного поражения продолжают держать фронт. Это было совсем не то, что ему обещали, отправляя нах остен. Его предали так же, как и меня...

Почему я называю немцами людей, вторгшихся в нашу страну летом сорок первого года? Да потому, что в войну их только так и называли. Потому что немцами были все, кто носил немецкую форму, за исключением немногочисленных славян, проживавших на территории рейха, — чехов, поляков, кашубов, лужицких сербов. А в последние десятилетия их стали называть фашистами, якобы из соображений интернационализма. Но лишь некоторые из них были нацистами, а фашистом не был ни один; фашистами могли быть итальянцы. Очень странное проявление интернационализма — называть фашистами всех немцев, а заодно и упомянутых мною славян.

Около грузовика стоял плотный пожилой солдат, ему не было так холодно, как тому, молодому, — сказывался житейский опыт. Голова немца была обернута старым женским платком, платок был проложен под подбородком и завязан узлом на затылке; это делало немца похожим на зайца. Платок он мог отобрать у какой-нибудь старухи, хотя доброе, стареющее лицо говорило: он не из тех, кто отбирает силком. Вернее, выменял платок на пачку солдатских галет. Командование самой вышколенной из всех армий сквозь пальцы смотрело на подобное вопиющее нарушение формы.

Я подошел к солдату и обратился к нему с той же простой просьбой:

— Пан, гиб брот!

Немец внимательно посмотрел на меня, улыбнулся и сказал:

— Мальтшик, я имейт кан брот, надо брот просить Гитлер.

Но я не мог последовать его совету, не мог попросить хлеб у человека с зачесанной набок челкой, короткими усиками и колючими глазами, смотревшего на меня с портретов.

Я шёл мимо дома, во дворе которого стояла немецкая походная кухня. Толстый краснолицый повар черпал и разливал остатки густого супа в котелки и кастрюльки выстроившимся в очередь мальчишкам и женщинам. Я инстинктивно двинулся туда, забыв, что мне все равно не во что взять суп. Тотчас мальчишки загалдели: «Не наш! Не наш!» и пинками выгнали меня из подворотни обратно на улицу. Внутри во мне кричало: «Моя собачка подышает!», но я не мог произнести эту фразу. Я боялся, что она сама вырвется из меня, и понимал, какое глумление это вызовет у мальчишек. Я заставил себя

изменить фразу на "Мой доуг умирает. Но и в таком виде она никого бы не тронула. И я еще не знал, что месяц спустя буду так же рыскать по городу в поисках куска пищи, но уже не для Жучка, а для себя.

На следующее утро у меня созрел новый план. Я решил продать книжку и, чтобы побыстрее ее у меня купили, взял один из любимых томиков Владимира Беляева. Я мог не бояться мамы, за моими книгами она не следила. И сейчас мамы не было дома, она не теряла надежды найти какую-нибудь работу. Беляева я быстро продал какому-то парню, чей жуликоватый вид красноречиво говорил о том, что о том, что он, не торопясь, перепродаст книгу вдвое или втрое дороже. На вырученные деньги я купил маленький ломоть хлеба и два кусочка пиленого сахара. Половину хлеба и один кусочек сахара тут же съел, остальное понес Жучку...

Жучка на обычном месте я не увидел. Вовка Чепала рассказал мне, что Жучок сдох, и Спиридоныч выкинул его на помойку... Мы вышли во двор к помойке, и на свежем снегу я издали увидел черную тушку Жучка. Неподвижные глазка его были приоткрыты, а зубы оскалены — казалось, весело. Такое выражение принимала мордочка Жучка, когда ему удавалось перехитрить меня в игре. Я пощупал собачье тельце — оно было твердым, затвердевшим на морозе...

Стальными прутьями мы с Вовкой долго ковыряли снег и мерзлую землю, вырыли неглубокую ямку, уложили туда Жучка и — прости нас, Господи, — из щепок и проволоки соорудили крестик. Затем, слегка присыпав сверху собачку, воткнули крестик у её головы. На следующий день навалило много снега, и крестик под ним простоял до весны. Так я потерял друга.

Прости меня, Вовка Чепала, что за столько лет я вспомнил о тебе лишь в связи с Жучком. Не знаю, жив ли ты сегодня. Я помню, откуда у тебя такая странная кличка. Она появилась в тот год, когда все мальчишки бредили Чапаевым. Когда мы были от восторга, видя, как на экране рубят шашками, бьют прикладами, колот штыками безобразных и противных нелюдей-беляков, которые ничего другого и не заслуживали. Нам и самим страстно хотелось рубить шашкой, бить прикладом, колоть штыком, строчить из пулемета. Тра-та-та, тра-та-та — это была сладкая нашему сердцу музыка. И жаль было, досадно было, что их, беляков, побили, порубили, покололи еще тогда — в восемнадцатом, девятнадцатом, двадцатом...

Ты же, на два или три года меньший, чем я, вряд ли понимал тогда, кто такой Чапаев и наверняка не ходил в кино, но, подражая старшим мальчишкам, с двумя палками в руке — одна изображала боевого коня, другая — боевую шашку — говорил так, как расслышал сам: «Я — Чепала». Впрочем, на дворе нашем, прибалтийском русско-украинском «суржике» слово могло еще обозначать того, кто чепает — цепляет, задевает, пристаёт. И это к тебе очень-очень подходило. В то время я, чистенький и сытенький мальчик из интеллигентной и, по твоим представлениям, богатой семьи, панически боялся тебя, маленького, дерзкого и нахального замухрышку, оборвыша — всегда испачканного, залатанного, оборванного и неизменно голодного. У меня и у других таких же чистеньких и сытеньких мальчиков ты не раз и выпрашивал, и выкрадывал, и просто вырывал из рук пирожки, игрушки, монетки. Твой отец был то ли дворником, то ли истопником в домовой котельной, а жил ты с родителями и множеством девчонок, твоих сестер — я никогда не мог запомнить их всех — в тесной подвальной комнатухе. Однажды, заглянув вечером в ваше окошко, я был потрясен: вся комната была заставлена кроватями и раскладушками, дети по узким проходам пробирались к своим постелям. Две комнаты моей квартиры представились мне роскошными

апартаментами. То был для меня первый урок социального неравенства и несправедливости в нашем, лучшем из всех возможных обществ.

Оккупация уравнила и даже сдружила нас. Я уже не боялся тебя и ты ничего у меня не отбирал, да и нечего было отбирать. В каком-то смысле восторжествовала справедливость — теперь мы оба голодали. Но длилось это недолго. Весной мама нашла работу — по специальности в сельской местности, и мы покинули город. Жизнь в селе была бездомной, но не голодной. А ты со своими родителями и сестрами продолжал голодать в городе. Не знаю, почему твои родители, в свое время бежавшие из села от голодомора, не вернулись туда — то ли далеко было до родных мест, то ли отделяла их линия фронта, то ли еще по какой-то причине. Вы продолжали голодать и после освобождения и даже в те годы, когда «в магазинах все было». До оккупации твоя семья ждала немцев, в оккупации — русских, а после освобождения уже не оставалось ждать ничего, кроме полной победы коммунизма.

Вернувшись в город после освобождения, я жил в другом доме и дороги наши пересеклись лишь один раз, спустя восемь лет. Я уже был студентом, недурно одевался, имел нормальный мужской рост, не атлетическую, но и не хилую внешность, и — как бы об этом сказать поскромнее? — не однажды ловил на себе заинтересованные девичьи взгляды.

Встретились мы с тобой на задней площадке трамвая. Я возвращался домой с заводской практики трамваем, который долго петлял по городским задворкам. Увидел тебя подростком, но рядом со мной — малорослым, щупленьким и по-прежнему тощим, с бледными впалыми щеками. Ты возвращался с другого завода, где лишь недавно из учеников стал фрезеровщиком — разумеется, низшего разряда и в то время с нищенским заработком.

Никогда не забуду, как ты смотрел на меня. Во взгляде твоём было многое — и радость встречи, и неприкрытая зависть, и обида за себя, и еще что-то, может быть, классовая ненависть... Мне приходилось глядеть на тебя сверху вниз, и было безотчетно стыдно за свой рост, гладкие щеки, недорогой, но добротный костюм, за комсомольский значок на отвороте пиджака...

Очень хочется соврать: сказать, что хлеб и сахар, предназначенные Жучку, я отдал Вовке или хотя бы разделил эту пищу с ним. Но, нет. Хлеб и сахар я съел сам.

Морозы стали еще лютее. Наша самодельная печка совсем не согревала комнату, и нас на время приняла к себе тетя Клава, дальняя мамаина родственница. Она жила на окраине города, в собственном отдельном домине. У нее в усадьбе был небольшой огород и своя живность. Но на кроликов напал мор, а часть кур разворовали соседи. И, несмотря на это, тетя Клава не голодала, но мы с мамой, разумеется, питались отдельно. Во дворе, в будке, несмотря на морозы, жил лохматый бурый Барсик. Поначалу он яростно бросался на меня, но вскоре привык. Его собачья мордочка своим выражением напоминала мне моего Жучка.

А в городе совсем не стало собак. Одни околели, другие были съедены — я не раз слышал о том, что собачье мясо съедобно и даже вкусно... Однажды в трескучий мороз я пришел за чем-то в свою квартиру на четвертом этаже и на лестничной площадке у двери давно не действующего лифта увидел Пальму и Белку. Пальма была вся костлявая, угловатая, она с трудом поднялась мне навстречу; казалось, я слышу хруст ее костей. Она уткнулась мордой в мое колено и жалобно прохрипела. Белка, какая-то поблекшая, но все ещё бодренькая, подала обе передние лапы. Я долго гладил обеих собачек, и сердце защемило от того, что нечего им дать. Они же и не ждали от меня ничего, кроме ласки. Когда я вышел из квартиры и стал спускаться по лестнице, собаки

не стали, как бывало прежде, меня провожать. Они обе стояли на площадке и смотрели вслед сквозь зазор между лестничными пролетами. Я

прошел один за другим шесть пролетов и после каждого оглядывался вверх. Собаки продолжали смотреть. Они знали, что видят меня в последний раз...

Наступила оттепель, нетопленые многоэтажные дома стояли потемневшие снаружи от сырости. Мы с мамой вернулись в свою квартиру, усовершенствовали печь — дым теперь выходил в окно, а не в комнату. Я уже не увидел ни Пальмы, ни Белки. Вовка Чепала рассказал, что Пальма сдохла, а Белку съел один человек. Имя этого человека я помню до сих пор, но кому еще интересно его знать?

Мы с мамой пережили зиму, не замерзли и не умерли с голоду. Но весной, собирая отбросы с немецкой кухни, я сильно отравился и едва выжил. К этому времени мама, наконец, нашла работу в конторе по землеустройству одного из сельских районов, продавала последнюю мебель и вещи, чтобы выходить меня.

Незадолго до отъезда из города тетя Клава позвала нас на поминки по своему мужу. Я о нем ничего еще не сказал, но я его и не видел, живя у тети Клавды; тяжело больной, он лежал в отдельной комнатке.

На поминках, кроме нас с мамой, были какие-то незнакомые старухи. Мы пили компот из сухих фруктов, ели темные, но очень вкусные блины и немного пшеничной кутьи, — настоящую вареную картошку, а не картофельные очистки с немецкой' кухни. Потом тетя Клава поставила на стол настоящее, уже полузабытое жареное мясо. Мясо — с золотистой румяной корочкой, внутри светлое, сочное, ароматное, оно таяло во рту. Это был настоящий праздник.

— Ешь, Юрик, — говорила тетя Клава, накладывая мне на тарелку еще один кусок. — Вкусное мясо? Это собачатинка такая вкусная.

Собача..? Желудок сработал прежде, чем это слово дошло до сознания. Он немедленно выкинул наружу пережеванные блины, пшеничные зерна, сухие фрукты и, мясо, а затем что-то еще полупереваренное. В голове помутилось, я вспомнил Барсика, не обнаруженного мной в пустой будке, и, не помня себя, закричал:

— Собачатинка вкусная, да? А человечинка, наверное, еще вкуснее. Если можно друга человека съесть, то почему бы не съесть и человека?

— Что ты говоришь, Юрка? Не смей так разговаривать с тетей Клавой! — закричала мама. Ее и саму поташнивало.

А у меня все поплыло перед глазами, я осел на пол, а желудок продолжал выкидывать из себя уже чистый желудочный сок. Потом и сока не стало, а меня все еще сотрясали позывы на рвоту.

Я пришел в себя, лежа на диване, и слышал, как мама говорит тете Клавде:

— Прости его, он очень любит собак.

— Чего уж там! — отвечала ей тетя Клава. — Не ругай ты его. Это я дура — сказала про собачатину. Можно ведь было сказать: баранина и он бы поверил. Мы-то с тобой в селе выросли, а он — городской ребенок. В селе ведь как бывает? Растишь теленка или козленка, а он не хуже собаки, особенно козленок — и ласковый, и забавный, и смышленный. Привяжешься к нему, полюбишь, но время придет — заколешь и съешь. Городской же ребенок, да и взрослый видит только готовое мясо. Не надо ругать его. Жаль, что он голодным останется.

СТАТЬИ

ИСПОВЕДЬ СТРЕЛОЧНИКА

Пришло время дискуссий. И время поисков, и время откровенных разговоров, и время исповедей. Давайте же обсудим то, что сегодня более всего нас волнует и болит в нас. Будем искать выход. Речь идет о нашем духовном контакте с нашими студентами.

Что-то ему мешает. Вот и «сверху», начиная с общеуниверситетских инстанций, слышим: вы теряете контакт, теряете контроль, теряете управление. Хотя и точнее, и продуктивнее было бы говорить: мы теряем. Однако крепка привычка искать виноватых «стрелочников», а не причины явлений. В данном случае «стрелочники» — это мы, педагоги - активисты факультетского уровня. Что же мы теряем? Нет, не профессиональный контакт, который был и будет всегда. Серьезному испытанию сегодня подвергнут наш авторитет идейных наставников, доверие студентов к нам и наше воздействие на них именно в идейно-политическом плане. И вот, на мой взгляд, почему.

Во-первых, есть еще над нами приверженцы командного стиля руководства. Не только в силу инерции, но и из сознательного нежелания отказываться от него. Среди них и такие, для кого перестройка — не грозное веление времени, а преходящее досадное недоразумение или же тактический прием. «Благодаря» этим людям и собственному непротивлению мы все еще оказываемся в роли проводников директивно спускаемых, непродуманных, не соответствующих духу времени и непопулярных команд.,

Во-вторых, мы и сами не освободились, не имели времени освободиться от прежних стереотипов. Кто-то еще не может «отступить» от «принципов», подобно автору нашумевшей на весь Союз публикации (в ней я нашел только один принцип, его можно сформулировать словами поэта: «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман»). Другие опасаются поворота на 180 градусов в сторону все тех же «принципов». Большинство же попросту не рассталось с привычками. Студенты, не столь отягощенные стереотипами и привычками, зачастую быстрее постигают дух и смысл перестройки, чем мы.

В-третьих, духовно мы изменились за последние три года, но телесно — все те же. А произносим нечто новое, порой противоположное. Разумеется, мы всегда исповедовали (все проповедовали, все ли исповедовали?) вечные нормы морали и коммунистические идеалы. Это тоже что-то значило во времена воинствующего мещанства, престижного потребительства и падения общественной морали. Тем как-то оправданы прожитые нами годы. Вместе с тем мы вынуждены были, по существу, воспитывать конформистов по собственному подобию. Теперь трудно отличить по внешним признакам искренний пересмотр своих позиций, преодоление собственного конформизма от идейной мимикрии, очередного приспособления к меняющейся обстановке.

В-четвертых, как объяснять, почему мы, люди старших поколений, терпели застои? Ведь можно было и не терпеть, рискуя уже не жизнью своей и своих близких (как было при Сталине), а только местом, семейным благополучием и лишь в крайних случаях свободой. Не замечали мы вокруг себя признаки экономической и моральной деградации общества, перерождение руководителей? Не ощущали фальшивость официальной пропаганды? Не возмущались тайком возвеличиванием бездарности? Замечали, ощущали, возмущались. Есть только два психологических объяснения нашей тогдашней терпимости. Боязнь за «теплое место» и парализованность воли, субъективное ощущение тщетности потуг противостоять деградации и застою. Второе объяснение вроде бы благороднее, чем первое. Но как эти мотивы различить со

стороны? Легко ли различить их в себе? Все это, очень мягко выражаясь, не способствует нашему авторитету. А был ли он? Или же за свой личный авторитет мы принимали авторитарность командной системы? Не совсем так. В те, еще недавние годы не так уж трудно было прослыть самостоятельно мыслящим человеком. На фоне унылой унификации общественной мысли, закоснелых, читаемых по бумажке формулировок достаточно переставить слова в ином порядке и чуть-чуть, в меру дозволенного начальством и цензурой отклониться от наезженной колеи. Теперь поток информации захлестнул прессу и эфир. Мы ощущаем свою неспособность добавить к этому что-нибудь. Наша точка зрения тонет в этом потоке фактов, мнений, концепций. А у студентов свои, сложности, свои проблемы, не менее сложные и большие. Об этом дальше. Не надо хоронить единомыслие. Это единственное, в чем я не согласен с В. Постовым («ЗСН» от 5 мая 1988 г.). В чем-то главное большинство советских людей будут мыслить едино. Но не одинаково. Тщательно насаждавшееся единомыслие рассыпалось. И прекрасно. Мы начинаем понимать, что наш студент и наш коллега не обязан мыслить тождественно нам. Что мы не обязаны мыслить тождественно им. Контакт будет. Не как подсобное средство контроля и управления, то есть понуканий и одергивания. А как проявление единомыслия в главном. Но его надо создать заново и на новой основе.

Давайте открыто и трезво смотреть на себя и вокруг. Изучать ту ситуацию, которую я описываю по своему разумению. Если что-то искажаю, прошу поправить. Если поверхностно, прошу углубить. Если недостаточно оптимистично — порадовать. Попробуем войти в положение сегодняшнего молодого человека, студента. Переоценка фальшивых ценностей, переосмысление прошлого и настоящего — отрадный, но болезненный процесс. Люди, помнящие 30-е или хотя бы 60-е годы, относятся к нему спокойнее и более или менее однородно. Имею в виду свою среду работников высшей школы и науки, в которой никогда полностью не угасали, пусть не горели, но тлели здоровый критицизм и поиск правдивой информации. Обнаружение всего, что так долго от нас скрывали, большинство моих коллег воспринимает как долгожданную и запоздавшую правду, не придавая значения неизбежным текстуальным расхождениям и несовпадениям деталей в воспоминаниях очевидцев. Не столь однородно восприятие студентов, сказывается влияние семей и родной среды. Молодежь более чувствительна к диссонансам в средствах информации, даже к упомянутому несовпадению деталей, к расхождению между провозглашаемым принципом перестройки и повседневной местной практикой. Отсутствие собственного опыта, противоречивость влияний, неумение отличать правду от лжи таит в себе зерна тотального неверия. Это испытание правдой. А есть еще испытание непривычной свободой, которая может и голову закружить, как свежий воздух, врывающийся в затхлую комнату. И «тяжкое бремя» свободы, когда вдруг самому приходится принимать решения и выбирать варианты. Все это — при явном недостатке общей культуры, которую не дала средняя школа (а кого-то даже отвратила от культуры) и, следует признать, не дает университет. Можем ли мы дать то, чем сами не обладаем в избытке? В такой сложной психологической и этической ситуации мы пытаемся проводить воспитательную работу по старым сценариям. В наших планах и отчетах студент постоянно должен быть и ощущать себя воспитуемым. Ходить на лекцию международного, не чтобы разобраться в мировых событиях, а воспитываться политически. Ходить на концерт не музыку слушать, а воспитываться эстетически. Ходить на субботник не мусор убирать, а воспитываться в трудовом плане. Да от такой жизни... Удивительно ли, что он

все чаще вообще никуда не ходит? Представьте себе: привожу студента в аудиторию, усаживаю и говорю: «Сиди и слушай! Я буду тебя воспитывать». Смешно? Этим смешным делом мы занимаемся постоянно. Кто и когда совершил этот подлог — заменил воспитание «воспитательной работой»? Уверен, что мероприятия, специально придуманные как воспитательные (притом для людей совершеннолетних) — бессмыслица, бюрократический суррогат, антивоспитание.

Воспитывает жизнь, непридуманное дело, нужная и полезная работа, у нас прежде всего — учебно - воспитательный процесс в коллективе, где не противопоставлены воспитующие и воспитуемые. Воспитатель не тот, кто назидает, понукает и Одергивает, а тот, кто в повседневной работе с вверенными людьми наилучшим образом организует дело, формирует моральный климат и интеллектуальный уровень деятельности, прежде всего и главным образом — профессиональной. Так поступали все великие педагоги. Настоящий идейный контакт возможен только на профессиональной основе. Разумеется, для такой работы и такого воспитания нам надо подниматься на совсем иной уровень профессионализма и интеллигентности. Так давайте подниматься! Хватит любоваться своими дипломами и аттестатами. Нужно ли объяснять, что речь идет о профессионализме педагога, а не научного работника? Нужно! Очень часто у нас научные заслуги и титулы ограждают его носителя от требовательности к педагогическому мастерству. Наше общество пожинает горькие плоды пренебрежения к профессионализму. Слишком мало его. Слишком много дилетантства, некомпетентности, делячества.

Профессионализм у нас вообще не в чести. С чем только не путают его — с профессиональной узостью и снобизмом, с карьеризмом, технократическими настроениями, (если речь идет о точных науках)! А ведь это — нечто противоположное: мастерское владение профессией (не узкой специальностью!), преданность ей (делу, а не его дивидендам и знакам формального признания!), постоянное самосовершенствование, глубокое понимание места и роли в обществе. Настоящий профессионал — всегда интеллигент и всегда гражданин; без профессионализма нет настоящего интеллигента, настоящего гражданина. Огромный и плохо используемый воспитательный заряд несет в себе профессионализм. Довольно играть в бюрократические игры. Надо дело делать.

«За советскую науку» 26.05, 2.06.1988 г.

ПЕРЕСТРОЙКЕ НУЖЕН КОМСОМОЛ

Есть у моих ровесников (и у тех, кто постарше, и у тех, кто помоложе) искушение становиться в такую позу перед нынешними комсомольцами: мы, дескать, были сознательнее, дисциплинированнее, активнее, бодрее — ай-я-яй, ай-я-яй! Объясняю, почему я стараюсь избегать этого. Просто не забыл я, как перед комсомольскими активистами послевоенных лет, пытавшимися решить свои очень непростые вопросы, выступали ветераны предыдущих десятилетий. Как мы слушали их с интересом, чем-то восхищались, чему-то завидовали. Как нас, случалось, стыдили, и мы бывали пристыжены своим несоответствием комсомольским эталонам легендарных лет. Но мало чем могли помочь нам в наших делах и такие рассказы, и наше посрамление. При всем своем желании мы не могли стать такими же, как те, в двадцатых. Во-первых, никто бы нам этого не позволил. Во-вторых, комсомольцы тогда были другие, но и вся обстановка — иная. Но главное — тогда коммунисты были другие. (При нас уже не было и быть не могло голодающего наркома продовольствия Цурюпы. И наркома Серго, который, посещая завод без раболепной свиты, приходил

вначале в цех к рабочим, а уж потом в дирекцию. И секретаря обкома Кирова, ездившего трамваем). Не без основания усматривали мы в рассказчиках (не во всех, но во многих) нежелание или неспособность вникнуть в наши проблемы. Поэтому, обращаясь к молодым, попытаемся взглянуть на себя их глазами! Для этого достаточно хорошенько вспомнить себя. Себя живого, подлинного, а не пропущенный самоцензурой казенно-хрестоматийный образ послевоенного комсомольца. В своем первоизданном материале мы были такими же, как юнцы любого поколения. Но что из него лепили и что в нас тогдашних может послужить примером для сегодняшних комсомольцев?

Мы были несвободны и недемократичны. Для нас привычными становились нормы автоматического послушания, нетерпимость к иным оттенкам мысли, (а также иным прическам, покрою одежды, ширине брюк и т. д.), добровольно-принудительные акции. Мы были неинтеллектуальны и некультурны. Нас тщательно оберегали от «упаднической» поэзии Есенина, от ормалистической музыки Шостаковича, от всей «декадентской» живописи новейшего времени. От «пошляка» Зоценко, реакционера» Достоевского, «космополита» Фейхтвангера, «ренегатов» Синклера, Хемингуэя, Стейбека. Что уж говорить об истории, философии, политических учениях? У нас вырабатывали отвращение ко «всякой философии», к исканиям истины и добра. Единственно верное учение предельно ясно было изложено в четвертой главе сталинского «Краткого курса». Спорить там было не о чем. Наша мораль была искривлена - мы с детства воспитывались фильмами, где наши умирали картинно и красиво, а враги безобразно и смешно. Мальчишками мы были от восторга, глядя, как колют штыками «беляков». Иногда, не разобравшись, так же реагировали на смерть красных.

Наше чувство собственного достоинства было атрофировано. Мы отдавали голоса кандидатам, уже выбранным за нас и без нас, не сознавая при этом отвечать себя статистами политического фарса. Осуждали авторов не прочитанных нами книг. Заполняли множество унижительных анкет (родившиеся в 30-е годы должны были отвечать на вопрос: «Служили ли вы в белых правительствах?») и не ощущали унижения.

Наши души были искалечены с детства, когда мы по наущению учителя «исправляли историю», вычеркивая из учебника имена героев гражданской войны и замазывая их портреты. Все моему поколению предписывалось единодушно эйфорическое восприятие советской действительности.

В той действительности была героическая Победа в тяжелой войне и столь же героическое восстановление. Но была в ней и карточная система с неизбежной на ее основе и при абсолютном отсутствии гласности коррупцией. «При Сталине не было коррупции» — заблуждение, если не злонамеренная ложь. Истина в другом: при Сталине нельзя было даже заикнуться, что в нашем обществе есть коррупция. Было потрясающее неравенство в продуктовых пайках, даже в детских. Был послевоенный неурожай, в деревнях многих областей возродивший страшные призраки 33-го года, включая людоедство. Был разгул уголовщины, массовое увлечение «блатной романтикой».

(Нужно пояснение о детских пайках. Была единая продовольственная карточка для «иждивенцев», включая детей. Нынешний ребенок съел бы тот месячный паек в несколько дней. Но были еще детские талоны к так называемым «литерам». Бывало, в одном классе учились дистрофики и перекормленные «пузатики». Нужно ли объяснять, что не рабочие и не рядовые интеллигенты получали «литеры»? Да, наша бюрократия всегда «была вместе с народом», но пищу она принимала отдельно и тайком).

Все это замалчивалось, заглушалось такими неумеренными восхвалениями, что трудно было принимать их всерьез человеку, начинающему (по своему возрасту) мыслить.

Мы вовсе не смотрели на старших снизу вверх. Нам, не прошедшим чистилище «ежовщины» и ее продолжений, непонятны и неприязненны были скованность, осторожность родителей и старших братьев, их искреннее или фальшивое прекраснодушие в оценках действительности. Те, кто отдавался комсомольской работе по велению сердца, а не ради карьеры, болезненно воспринимали несоответствие парадных рапортов. Напротив, бездумная вера в безграничную мудрость высочайшего руководства отлично уживалась с бездеятельностью, аполитичностью и аморальностью. Что же касается карьеристов, то им во все времена хватало веры лишь в незыблемость существующего порядка. И вовсе не чужды были нам смутная, я бы сказал, гамлетовская («подгнило что-то в датском королевстве») неудовлетворенность и сомнения — тот самый марксов девиз, который нельзя было произносить публично. Но неприглядные образы действительности и неудовлетворенность ею, и сомнения в ее разумности были просветами в гипнотическом сне. Усыпляющий голос из репродукторов, с киноэкранов, страниц газет и книг, стихотворных строчек неустанно твердил, что мы счастливы, живя в самой распрекрасной и процветающей стране, которую под звуки «Оды радости» ведет единственно правильной дорогой к сияющим вершинам самый мудрый во всеобщей истории человек. Не надо спорить, сколько советских людей было усыплено, а сколько притворялось самосохранения или корысти ради. И кто лучше? У разных людей частота просветов была очень разной. Кто-то и по сей день не пробудился, а кто-то утверждает, что мы уже вошли бы в земной рай, продлись тот сон еще полвека и обратись в лагерную пыль еще какой-нибудь десяток-другой миллионов.

Думаю, что никто не был абсолютно глух и слеп. И никто (по крайней мере, по эту сторону колючей проволоки) не был вполне свободен от гипноза. И очень быстро мы становились как старшие. Научались говорить «как надо» и думать «как надо», то есть поддавались гипнозу. Или же - думать одно, а говорить другое, то есть принимали правила игры. Уже тогда мы постигали эту циничную игру; позже она стала безопасной, поощряемой и повсеместной. Но при всем том больше было жизни в комсомоле, чем потом. Больше содержательности, больше потуг к оздоровлению. Это невыводимо из дисциплины, державшейся на гипнозе или страхе перед последствиями. Было веление сердца. Была жива душа комсомола при нас и после нас. Чем-то жива она и по сей день. Несмотря на то, что за многие десятилетия комсомол, как уже не раз было сказано, превратился в Министерство по делам молодежи, крайне неэффективное в этом своем качестве, как и любое другое бюрократическое учреждение. Несмотря на то, что коммунисты из старших товарищей были превращены в попечителей, поучателей, кураторов, менторов, в массе своей неумелых и нерадивых в силу бюрократической природы самого замысла. Несмотря на то, что молодежный трудовой энтузиазм широко использовался для прикрытия и во искупление некомпетентности, бездарности и нерадивости обюрократившегося руководства разного ранга, изошрённого и талантливое только в деле сохранения своей власти.

Чем же жива душа комсомола? Думаю, что памятью о первом его десятилетии. Не надо и его идеализировать. Немало было там такого, что сегодня вызывает горькую улыбку- левацкие загибы, утопические бредни, р-р-революционное нетерпение. Но был великий всплеск пассионарности, бескорыстным порыв к политическому творчеству. Осознание себя не статистом, а активным субъектом истории, се творцом. Это на десятилетия

вперед задало такую притягательность и столь высокий нравственный заряд, что не убили их ни предвоенная расправа с комсомольскими кадрами, ни ядовитые щупальца бюрократического спрута, ни ложь и фальшь, опутавшие нашу общественную, (а стало быть), и личную жизнь.

Вот куда надо заглядывать нынешним комсомольцам. Но более всего - смотреть вперед. Не искусственно насаждавшийся консервативный пафос сохранения традиции поднимет тонус комсомола, а революционный пафос обновления, новаторства. Не официозные «ценности» и ложные «принципы» прошлого, а ценности новые дадут ему силы и нравственное здоровье. Впрочем, какие они новые? Они хранились и вынашивались в народе, но не были лозунговыми.

Перечисляя далее их, я не претендую на полноту и точность формулировок. Приглашаю думать. Провозглашенные ныне идеалы демократического, правового социалистического государства. Преодоление бюрократизма и защита окружающей среды, культуры, демократии и гражданского достоинства от бюрократического аппарата и технократии.

Твердость жизненной позиции при широте взглядов и демократической терпимости к иным мнениям. Высокое чувство собственного достоинства и уважение достоинства оппонента. Овладение искусством спорить, доказывать, убеждать.

Гласность и категорическое неприятие лжи, фальши и лицемерия, прохиндейства и «жлобства» (здесь неуместна терпимость). Примат нравственности над политикой. Интеллигентность. Не в сословном или «прослоечном» смысле, а в том смысле, в каком интеллигентным вполне может быть колхозник и не быть доктор наук. Усвоение высокого профессионального мастерства и общей культуры. Возрождение национальной культуры всех народов как основы духовной жизни социалистической общности. Опасение молодых душ в противостоянии асоциальным и антисоциальным молодежным группировкам. Не «борьба» за души, а их спасение (поучиться бы этому у церковников!). Защита перестройки. От тех, кто «уже перестроился», от бюрократических извращений и попыток дискредитации, от консерваторов и сталинистов. От подавляющего меньшинства, ежедневно стремящегося обратить едва наметившуюся демократию в «косметическую» видимость демократии.

Защита социализма. От ликвидаторских настроений и разрушительных тенденций, неизбежных в условиях плюрализма мнений и глубокого пересмотра морально-политических ценностей. От межнациональных конфликтов. От стихии стяжателей и казнокрадов. Защита социализма живого, творческого и развивающегося, а не законсервированного, замороженного в яркой обертке. Здесь нет покушения на преемственность поколения. Вопрос лишь в том, что передать молодежи, и что она примет? Старомодные привычки, отжившие стереотипы и «принципы», напускное бодрячество «старичков» и раздуманные легенды о прошлых десятилетиях она не примет. Но примет горечь нашего опыта, нашу боль, наши надежды и наше покаяние.

Перестройка — не на один год и, думаю, не на десятилетие. Решить сполна ее задачи сможет лишь поколение, возмужавшее в условиях гласности, открытости, свободного волеизъявления и доступа к информации.

Поэтому праздный вопрос : нужен ли комсомол? Сегодня он нужен, как никогда раньше. Комсомол необходим перестройке. Но комсомол обновленный.

«За советскую науку». 17 ноября 1988 г.

ИМЯ, МУЗЕЙ И ПАМЯТНИК

Имя, музей и памятник Куйбышева в ТГУ стали предметом обсуждения на страницах нашей газеты. По-моему, это—три разных вопроса, решать которые следует порознь. Вопрос об имени уже решен временем, остается лишь формально закрепить решение. Только в официальных бумагах и официальных выступлениях, печатных и устных, Томский -университет носит случайное и эпизодическое для него имя политического деятеля. Здесь вовсе не нужны арифметические выкладки — сколько раз Куйбышев поддерживал Сталина и на сколько процентов был сталинистом (интересно: а на сколько надо быть сталинистом, чтобы заслужить благородную память потомков?).

Присвоение его имени ТГУ — один из многих фактов безнравственного и нецивилизованного явления. Имею в виду систему повального присвоения, прижизненного и посмертного, городам, областям, районам, учебным заведениям, заводам и колхозам имен какого-то десятка людей, сосредоточивших в своих руках тоталитарную власть, равной которой по ее «беспределу» не знала история. Ведь не приходит в голову англичанам, чей здравый смысл не затуманен идеологическим «промыванием мозгов», присвоить Оксфорду имя, скажем, Уинстона Черчилля (даже подумать о такой возможности смешно). Потому что университету, создаваемому столетиями и на столетия, несоразмерна любая смертная личность, сколь бы значительной и великой ни представлялась она современникам и ближайшим поколениям. Исключением могут быть имена подлинных основателей, как, например, у МГУ.

В упомянутой вакханалии присвоения собственных имен проявилась интеллектуальная неполноценность их носителей, возжелавших личного бессмертия — наивная уверенность в том, что тоталитарный режим способен фальсифицировать славу, переживающую века и тысячелетия. В этом контексте личные качества и заслуги В. В. Куйбышева не играют никакой роли в решении вопроса о сохранении его имени университетом.

Иное дело—музей Куйбышева. Если там, действительно, собраны ценные исторические документы, их необходимо сохранить. Нельзя вычеркивать из собственной истории страницы, сколь бы горькими или позорными они ни были. Но подозреваю, что подбор документов весьма тенденциозен, определен «задачами воспитания советского патриотизма», сведенного к безудержному самохвальству и «беззаветной преданности»... каждому очередному руководству. Кстати, вдумывался ли кто-нибудь в глубокий смысл слова «беззаветно»? Это еще хуже, чем бездумно и беспамятно. Если же музей представит разностороннюю, сложную и по возможности объективную картину, то... Почему бы где-нибудь в Союзе не быть музеям Вышинского, Ежова, Берии, фигур куда более одиозных, чем В. В. Куйбышев? Наверное, еще можно собрать содержательные экспонаты; они были бы очень поучительны. Но ясно одно: если музей В. В. Куйбышева сохранится в прежнем виде, то посетителей не будет. Кроме горстки вымирающих блюстителей дискредитировавших себя «принципов».

Наконец, о памятнике. Ничего не следует забывать, а памятник — это материализованная память. Неразумно и аморально убирать чьи бы то ни было надгробные памятники. Не столь безоговорочно, но осторожно надо относиться к памятникам, установленным в местах рождения или деятельности. Но здесь выступает еще одно важное соображение: художественная ценность...

В любом случае, в вопросе о музее и памятнике поспешность не нужна. Что же касается актов осквернения памятника Куйбышева — они возмутительны и непростительны. Но давайте сознавать, что это—горькие плоды нашего многолетнего «просвещения». Сколько лет и десятилетий воспитывали в

советских людях вражду и ненависть, отрабатывали улюлюканье в адрес «троцкистов», «кулаков», «власовцев» (к коим причисляли всех бывших советских военнопленных), «гнилой интеллигенции», «космополитов», «диссидентов» и т. д.! Можно (и нужно) было предвидеть, что многократно отрететированное улюлюканье обратится когда-нибудь против «сталинистов» и «аппаратчиков».

«За советскую науку». 28.09. 1989 г.

ЗАЧЕМ НУЖЕН " МЕМОРИАЛ "

«Только рабы не помнят своей истории».
(Анатоль Франс).

СВОЕ членство в «Мемориале» я еще не оформлял. Но присмотрелся к благородной работе его исторической секции. Это не голос самого добровольного общества, а доброжелательный взгляд со стороны.

Итак, зачем нужен «Мемориал»? «Мемори» - это память...

«Членов общества «Мемориал» объединяют гуманистические нравственные принципы: неприятие беззакония, дискриминации, попрания прав человека и народов, стремление способствовать формированию гражданского достоинства советских людей, осуждение произвола и насилия как средства решения общественных проблем и социальных конфликтов».

(Из Устава Всесоюзного добровольного историко-просветительского общества «Мемориал»). Дабы превратить «гомо сапиенс», человека мыслящего, творческого, совестливого и свободного в запрограммированного робота, в нерадивого, но покорного раба, бездумного, бездушного и бессовестного исполнителя приказов власть имущих, в бессловесного манкурта — нужно ли прибегать к хирургической операции? Не достаточно ли лишить его прошлого, отбить живую память о судьбах отцов и дедов, подменить ее псевдоромантической, лживой «героикой»? Для этого у сталинской, а впоследствии у брежневско-суловской пропаганды был в распоряжении богатый арсенал средств. От уничтожения до сокрытия (порой и по сей день) в глубоких «спецхранах» подлинных исторических свидетельств до издания фальсифицированных якобы научных трудов, придворных историков. От изъятия и сожжения талантливых литературных произведений до тиражирования опусов, возводящих в национальные герои каждого очередного правителя. От сноса храмов до возведения помпезных монументов...

Да полно! Неужто мыслящий и свободный человек столь податлив и внушаем? Неужто память его столь коротка? Неужто можно так оболванить его, не применяя скальпель? Нет, нам не стягивали череп размоченными звериными шкурками, в наши головы не вживляли электроды. Хирургическая операция была произведена над всем народом. Вместе со свидетельствами уничтожались свидетели. Вместе с книгами - их авторы и читатели. Подсознательный страх наш—на клеточном уровне, от матерей, которые носили нас, еженощно прислушиваясь к шагам на лестнице... Рядом с недавним еще нашим прошлым кровавые деяния «красных химеров» выглядят неумелым и огрубленным эпигонством. Продолжаться вечно геноцид не мог. В противном случае правителям стало бы нечем править. Стерев в порошок десятки миллионов, запугав и оболванив остальных, они принялись за надругательство над трупами. ...Реабилитировать за «отсутствием состава преступления». И предать забвению навечно. Свалить брненное тело в общую яму, залить карболкой, засыпать хлоркой. А спустя десятилетия убить вторично. Убить бессмертную

душу, вытравив ее из памяти потомков. Предать обской волне размытые ею кости, развалить гребным винтом и замуть пульпой захоронение, пока колпашевские пацаны вытащили не все дедовские черепа, чтобы катать их по улицам... Под сладкопение о высочайших и чистейших принципах коммунистической морали: «человек человеку. ...». Но если только он не «буржуй» и не «контрреволюционер», не «кулак» и не «вредитель», не «троцкист» и не «вражеский агент», не «власовец» и не «националист», не «безродный космополит», не «диссидент»... Если он не..., не..., не... — вот тогда он — друг, товарищ и брат (кому же?) За этими ярлыками, пришитыми (если учесть жен, детей и родню) к доброй половине советского народа, растоптанные судьбы, разбитые семьи, осиротевшие дети, внуки, никогда не знавшие своих дедов. Жены, долгие годы ожидающие мужей из «дальних лагерей без права переписки» (формула лицемерная, но ужасающе точная: с теми «дальними лагерями» переписка невозможна). А еще — не рожденные от жен «кулаков» и «врагов народа», выкинутые при пытках и в голодной ссылке. А еще — не зачатые от тех, кто был вырван из брачного ложа, из-за свадебного стола, с первого робкого свидания. От тех, кто росчерком пера был изъят из жизни и ушел, не познав радостей любви и не оставив семени. О них вспоминаю специально для сегодняшних молодых, которые сплошь и рядом даже не подозревают о горькой судьбе собственных дедов-прадедов, которым годы моего детства могут казаться столь же далекими, как нашествие Чингисхана. Не могу, не умею назвать гарантии тому, что прошлое не повторится. Но не сомневаюсь: забвение гарантирует неизбежность повторения. Кажется, невозможно приписать инициаторам и организаторам геноцида какие-либо человеческие качества: И все же они были наивны в своих планах без остатка навечно стереть людскую память, отсекая от тела народного мозолистые руки и умные головы, убить его душу, безвозвратно похоронить правду. Но правду сегодня приходится добывать из-под наслоений, нет, из-под напластований лжи и фальсификации. Раскрыто еще далеко не все. Еще мы не можем сказать: никто не забыт и ничто не забыто. Большая правда складывается из множества отдельных правд о каждом убиенном, замордованном, растоптанном. И еще — о том, о чем пока мы знаем очень мало - о сопротивлении геноциду. О тех, кто сопротивлялся и сохранял до смерти честь и достоинство в условиях жесточайших, не имеющих исторических аналогов, не оставлявших никакой надежды не только на победу, но и на самосохранение. (Говорят: «что же, нам нечем гордиться?») Есть, чем гордиться. Есть, кем гордиться. Надо лишь возродить из забвения, спасти от беспомытства их имена). Поисками этих правд неутомимо и самоотверженно занимается «Мемориал». Ему нужна материальная помощь. Пока еще живы участники, очевидцы и сторонние свидетели злодеяний, необходимо зафиксировать и сохранить их показания, воспоминания, свидетельства. Для этого нужна современная аппаратура. «Мемориалу» нужны спонсоры. Ими могли бы стать ССО, фонды молодежной инициативы, руководители хоздоговоров. Помните: забвение прошлого гарантирует его повторение.

« За советскую науку». 21.12. 1989 г.

РАССТРЕЛЯННЫЙ ИДЕАЛ (размышления о прочитанном)

Об исторической трагедии российского (отнюдь не только русского) крестьянства писано уже немало. Особые, еще малоизвестные страницы этой трагедии составили судьбы сельскохозяйственных коммун. Едва приоткрыла завесу забвения книга «Воспоминания крестьян - толстовцев» (Москва, «Книга», 1989 год).

Прочитав ее, вы узнаете, что не в туманном будущем и не в сказочной стране Утопии, а на сибирской земле в двадцатые годы нашего века жили простые крестьяне, для которых совместный труд был не проклятием и не тяжелой повинностью, не средством обогащения и самовыставления, а жизненной потребностью и радостью. Узнаете, как впервые принесли коммунары в Кузнецкий край огородничество и бесперебойно снабжали рабочих свежими овощами. Как поровну делили меж собой достатки и лишения. Узнаете и многое другое. И то, как, не роняя честь и достоинство, шли коммунары на свою Голгофу. В угоду казарменному лжесоциализму был расстрелян и растоптан идеал свободного коллективного труда свободно собравшихся людей. «Только дураки и религиозные аскеты могут в настоящее время жить в коммуне» — таков был приговор «отца народов». Естественно рождается вопрос: что же навлекло на коммунаров неприязнь и гнев руководства партии, объявившей себя монопольным обладателем ключей к светлому будущему всего человечества?

С крестьянами-единоличниками дело ясное. Это — мелкобуржуазная стихия, средоточие темных, отсталых, несознательных элементов, тормозящих победное шествие к всероссийской, всесоюзной и, в исторической перспективе, — всемирной казарме. Неужто это шествие в не меньшей и даже в большей мере тормозили коммунары? Да, не нужны были «светлому будущему» такие коммуны и такие коммунары — с собственным мнением, со своими убеждениями и представлениями. Дело в том, что многие сельхозкоммуны, притом наиболее крепкие и эффективные, были организованы анархистами, толстовцами, сектантами. Более всех способными и готовыми к новым трудовым отношениям и новому быту оказались люди, принципиально отвергающие всякое насилие над личностью, чуждые страсти к разрушению, классовой ненависти и зависти к богатому соседу. Они реализовали не партийный, не классовый, а общечеловеческий, христианский (может быть, своеобразно трактуемый) идеал. Разумеется, стойкие в вере и убеждениях, сообразно с ними эти коммунары зачастую отказывались участвовать в советских (и каких бы то ни было) выборах, служить в Красной (и любой другой) армии, подписываться на государственные займы, стремились сами, по-своему учить собственных детей. Понятно, как относились к ним местные власти и партийные органы. Но коммунары добросовестно и эффективно выполняли свою крестьянскую миссию и вплоть до года «великого перелома» крестьянских хребтов им удавалось найти защиту и поддержку во ВЦИКе. Была ли более отрадной судьба коммун, добровольно созданных большевистски настроенными крестьянами? Сведения об этом очень скудны, но та же участь постигла многих активистов и этих коммун, а сами коммуны, если и убереглись от разгрома, были вынуждены переродиться, перейдя на унифицированный Устав сельскохозяйственной артели. Либо еще раньше разложились в результате принуждаемого властями широкого притока людей, чуждых по своему отношению к совместному (да и к любому) труду. Пик деятельности коммун пришелся на годы нэпа. Свободный коллективный труд отлично совмещался со свободным единоличным. Не совместился он с государственно-крепостническим колхозным строем. Линия раздела прошла не между коллективным и единоличным трудом. Она прошла между трудом свободным и «добровольно-принудительным», подневольным. Между самостоятельным хозяйствованием и некомпетентным, бездарным партийно-чиновничьим диктатом. Между свободой и «осознанной необходимостью». Между нами говоря «свобода — осознанная необходимость» — явное и, надо думать, намеренное искажение; в оригинале у Энгельса «познанная», у Спинозы «разумная необходимость», а это — нечто существенно иное.

Искажение сделало философскую формулу расхожей, вывело её из гносеологии в повседневный быт, подменило диалектическое единство тривиальным отождествлением противоположных понятий, придало формуле вульгарный и зловеще буквальный смысл: кому же неведомо, что ожидает тех, кто не осознал? Вся мощь пропагандистско-репрессивного аппарата была направлена на превращение рачительных хозяев, самостоятельно мыслящих мастеров своего дела в бессловесные, покорные и угодливые «винтики».

Это по замыслу, фактически же — в ленивых, нерадивых, запойных и бесчестных рабов. Напрашивается вывод: коммунистическая партия отреклась от коммунистического идеала и повела страну в противоположном направлении. Но не так это просто. В писаниях и утопистов (и марксистов также) нетрудно найти все элементы «реального социализма» и даже такое, до чего «реальный социализм» не успел дойти — жесткую регламентацию частной жизни (Фурье и др.), отчуждение детей от родителей с пятилетнего возраста (Морелли и др.), рабский труд заключенных преступников (Т. Мор)... В их лексике очень часто встречается слово «равенство» и почти никогда «свобода». Нужно ли объяснять, что такое равенство без свободы?

Разумеется, воображения этих авторов не хватало на то, чтобы полностью представить, во что выльются их мечты и пророчества, логическим продолжением которых стали и Украина, российское Черноземье, Казахстан 33-го, и Кампучия 75-го года. Но могло быть и иное продолжение — то, что воплощалось в реальность 20-х годов, в частности, на сибирской земле.

Идеал свободного коллективного труда был выхолощен, сведен к чисто потребительскому («обилие сменится изобилием») и использован как приманка, то отдаляемая в неопределенное будущее, то безответственно обещаемая уже в 1980 году. Декларация «непрерывного удовлетворения непрерывно растущих потребностей», сама по себе глубоко безнравственная, особенно неуместна в стране, где худо обстоит дело с удовлетворением первейших нужд. А обещание распределения по потребности способно лишь раздражать и развращать (если бы кто-то принимал это всерьез, а не с ядовитым юмором) людей, не познавших еще справедливого распределения по труду. Нас сделали как бы заложниками будущих поколений, обрекли на лишения якобы ради далеких потомков. Тех самых, чьи богатства мы безудержно разворовываем, проедаем и бросаем на ветер. Но не вправе мы навязывать потомкам наши сегодняшние представления о том, как им должно жить. Наши политические споры и раздоры будут для них тем же, что для нас — соперничество гвельфов и гибеллинов, война Белой и Алой розы. Не нужны им наши «великие стройки» — болота, превращенные в пустыни, и пустыни, превращенные в болота. Если ради светлого будущего мы отравим поля, реки и воздух, изведем кладовые Земли и надорвемся сами, то рискуем оставить будущее, отнюдь не светлое, маргиналам и дебилам.

Лучшее, что можно сделать для потомков — обеспечить спокойную и безбедную старость родителям, радостное детство детям и внукам (а уж правнуки — объект их забот), достойную человека, но без излишеств -жизнь себе. Сегодня магия слов «коммуна», «коммунизм», «социализм» затмевает и здравый смысл, и научный анализ. Одни продолжают благоговеть перед этими словами, другие — предают их проклятию. Мы можем лишь гадать, как сложилась бы практика коммун в отсутствии преследований. Выжили бы они чисто экономически в условиях хозяйственного плюрализма? Ведь никто еще не сумел обосновать экономическую необходимость коммунистических принципов. Общество, где каждый стремится сделать не меньше, а получить не больше другого, где естественными чертами быта являются взаимная помощь и поддержка, милосердие к слабым, больным и

престарелым — идеал не экономический, а нравственный. Но человечество выживет, лишь сумеет согласовать экономику с нравственностью. В каких формах осуществится это согласование — решит не абстрактное теоретизирование, а время и позитивная практика без идеологического и политического пресса. Во всяком случае, семьдесят лет не могут безвозвратно стереть то, что вынашивалось два тысячелетия.

«За советскую науку». 13.09. 1990 г.

СЛОВО К ЕВРЕЯМ

На учредительном собрании Томского общества возрождения еврейской культуры наряду с другими гостями выступил и я. Выступил от общества «Мемориал», от Центра украинской культуры и от себя лично.

Начну с себя. Во-первых, живя на Украине, я постоянно - в школе, институте и в начале трудовой деятельности - оказывался в полном окружении евреев. Поэтому позволю себе сказать, знаком с еврейскими культурными традициями лучше некоторых томских евреев. Никого не хочу обидеть, но я действительно встречал здесь евреев, не имеющих представления об истории своего народа. Думаю, что такого не будет, когда общество еврейской культуры развернет свою работу.

Во-вторых, по-видимому, из-за неопределенной внешности и «непонятной» фамилия меня, бывало, принимали за еврея - весьма редко евреи, но довольно часто неевреи, в том числе официальные лица. Благодаря этому, я имею представление о том, как может чувствовать себя еврей в Советском Союзе, и понимаю, почему и как естественное, простое чувство национального достоинства претворяется порой в различного рода закомплексованность.

Общество еврейской культуры пополнило ряд национальных культурных обществ Томска, среди которых есть уже украинское, польское, литовское. Называю их особо потому, что Польша, Литва, Украина, а также Белоруссия - это тот ареал, в котором веками складывалась своеобразная, богатая культура, ныне почти полностью разрушенная, восточноевропейских евреев. В этом же ареале, при всех суровых исторических издержках, накапливался позитивный опыт межнационального сосуществования, сотрудничества и взаимопонимания. Еврей - кузнец, шорник, извозчик, торговец (ничего зазорного в этом занятии нет) - был неотъемлемой фигурой украинского народного быта. Не могло быть вражды и ненависти между хлебобобом и кузнецом или шорником. Но временами в этот мирный быт с более высоких этажей общества врывались политические и религиозные страсти. Официальная пропаганда приложила немало сил, и безуспешно, чтобы представить национально сознательного украинца закоренелым антисемитом. Эта тема требует обстоятельного обсуждения, и здесь я лишь обращаю внимание на то, что в украинском национально - демократическом движении в начале века не было ничего подобного «Союзу русского народа», а сегодня нет ничего подобного «Памяти», и на украинском языке не издается ничего подобного журналам «Наш современник» и «Молодая гвардия». Необходимо уточнение. Во время выступления не знал, что украинские тексты, в которых виновниками всех ваших бед объявляются люди с определенной формой носа, уже появляются в «украинской» коммунистической печати. Думаю, что комментарии излишни. Но не поймите меня так, что я хочу свалить грех антисемитизма на русский народ. Русскому национальному сознанию, как и украинскому, как любому иному, антисемитизм не свойствен. Национальное сознание не может строиться на отрицании и поругании иной национальности. Унижать чужое национальное достоинство способен лишь тот, кто лишен собственного. Мы не

можем принимать за проявление русского национального сознания выкрики людей, назойливо именующих себя русскими патриотами и возрождающих или творящих безграмотные или злоумышленные юдофобские мифы.

Для них слово «еврей» (и используемые ими слова-заменители, как «сионист», «малый народ» и тому подобное) — уже не обозначение национальности. а ругательство, которым они «награждают» и всех инакомыслящих русских, в особенности — использую их жаргон — «так называемых демократов». Вспомним хотя бы их нападки на журнал «Огонек»: дескать, он обозвал русский народ «детьми Шарикова». Да нет же, это самозванные и самоназванные патриоты назвали так русский народ, отождествив его с хулиганствующими монстрами из «Памяти». И разве не русофобство — заявления о том, что якобы полтора миллиона евреев спаивают или хотят спойть полтора миллиона русских? Как глубоко надо презирать собственный народ, ни во что его не ставить, чтобы язык поворачивался произносить такое!

Когда человек попадает в окружение иной этнической среды или тесно соприкасается с ней, перед ним открываются две возможности. Одна — стать человеком двух (а может быть, более) культур; это вполне возможно. Другая — переродиться, ассимилироваться. Но я убежден, что человек, способный отречься от своей этнической культуры, не способен воспринять никакую иную (в лучшем случае в иную культуру впишутся лишь его внуки). Общество еврейской культуры обсуждает разные варианты деятельности: готовиться к эмиграции или здесь возродить свою культуру. Я не считаю себя вправе осуждать тех, кто покинул или собирается покинуть Союз. Но и приветствовать их не могу. Потому что нельзя приветствовать собственный позор. Потому что на многие столетия вперед жгучим позором для России и других республик будет массовый исход евреев из Союза (наряду с позором массового исхода немцев).

«Томский Вестник». 18.06. 1991 г.

ОНИ БЫЛИ ЖЕРТВАМИ ПРОИЗВОЛА

В выпуске «Красного знамени» от 1 августа помещено письмо ветерана войны и труда В. Харченко, явившееся откликом на сообщение в газете о митинге памяти депортированных жителей западных регионов Союза, состоявшемся 14 июня, в день 50-летия большой депортации. В своем письме В. Харченко пишет: «Да, было совсем не оправданное насилие, но я не согласен, чтобы всех подряд называли теперь невинными жертвами. Были среди них и такие, кого наказали по заслугам».

Принимая во внимание почтенный возраст В. Харченко и его специфический жизненный опыт, включающий в себя участие в «ликвидации одной из банд» на Западной Украине, я не надеюсь его переубедить, но считаю необходимым разъяснить позицию историко - просветительского и правозащитного общества «Мемориал», которое и организовало (совместно с рядом национально - культурных обществ Томска) митинг памяти. Позиция наша состоит в том, что все депортированные, без исключений, являются невинными жертвами государственного произвола клики, правившей в Советском Союзе в середине нашего столетия. Речь идет отнюдь не о наказании преступников, не о злоупотреблениях местных властей, в результате которых могли пострадать и невинные. Речь идет о злонамеренных преступлениях против народа, осуществлявшихся с патологической жестокостью. В любом цивилизованном государстве виновность наказуемого устанавливает только суд. Депортации, то есть насильственные переселения, производились во внесудебном,

административном порядке и уже поэтому являются незаконными, преступными. Выселение семей с родных мест сопровождалось конфискацией всего имущества, за исключением того, что можно было унести в руках; на сборы давали от нескольких часов до пяти минут. Условия транспортировки были таковы, что многие умирали в дороге, в первую очередь малолетние, старики. Подобные примеры истории известны: так перевозили рабов (но их не морили голодом, рабы дорого стоили)

В новейшее время подобное происходило только в Советском Союзе и идущих по его стопам странах а также в гитлеровской Германии. Но гитлеровцы не успели развернуть во всю ширь массовые депортации, планировавшиеся ими в частности, в тех же местностях и в том же направлении, в котором они были осуществлены советским руководством в период 1939—1941 и 1944—1954 годов. «По заслугам» можно присудить человека к заключению, к каторжным работам и, если допускает закон, к смертной казни. Не может быть таких «заслуг» за которые везли бы как скот. в битком набитых товарняках, впроголодь, без воды и лекарств малых детей, женщин и стариков, обрекать их в местах поселения на голодное существование, непосильный труд и изощренные издевательства спецкомендатур. Само предположение о возможности **справедливого** насилия над ними отражает глубину падения советской морали под воздействием " самой передовой идеологии»

Возможно, В.Харченко имеет в виду повстанцев, которых ему привычней и спокойней для совести называть «бандитами». Но всех, кто с оружием в руках сопротивлялся Советской власти— не депортировали, а расстреливали на месте, как правило, после невыносимо зверских истязаний, либо отправляли в лагерь смерти ГУЛАГа. Такой же была участь тех, кто сочувствовал повстанцам или подозревался в сочувствии, кто не доносил на своих мужей, детей и родителей, кто оказывал помощь раненым или хоронил убитых близких родственников. В цивилизованном государстве такие поступки не являются нарушением закона.

Депортировали немощных и малолетних членов семей тех, кого преступные власти объявляли государственными преступниками. В местах активных действий повстанцев депортации подвергались не только целые хутора и села, но и целые районы. Советские правоохранительные органы и внутренние войска были ничуть не более разборчивы в средствах подавления народного сопротивления, чем гестапо и эсэсовцы. Депортации осуществлялись и до Отечественной войны, когда повстанческого движения еще не было. Само это движение явилось не причиной, а следствием предвоенных депортаций, показавших местному населению западных регионов, чего оно может ждать от «освободителей». Депортировали людей и независимо от их образа мыслей и поступков, якобы по классовому признаку, а фактически по произволу местных властей и в исполнение спущенной сверху разрядки. В преступления государства против народов Прибалтики, Западной Украины, Западной Белоруссии, Бессарабии были вовлечены рядовые советские люди (участвовавшие в выселении и транспортировке депортированных, в комендантском надзоре над ними, а также те, кому достались дома, сады, скот и прочее имущество), из которых многие верили и, возможно, по сей день верят или уверяют себя в том, что эти злодеяния совершались для блага и во славу социалистической Родины.

Что же касается повстанцев Прибалтики и Западной Украины, то наступило время пересмотреть их деяния как естественный и неизбежный ответ на произвол преступной власти. Но это — особая тема.

ДОЛГАЯ ДОРОГА НАДЕЖДЫ

В НОЯБРЕ 39-го года на станции Томск-2 сошла с пассажирского поезда семидесяти двухлетняя женщина в одежде не по-сибирски легкой. Из золотой украинской осени она попала в томскую ноябрьскую стужу и, дрожа от холода, направилась в поселок психобольницы...

Никакие томские анналы не отразили пребывания этой женщины в нашем городе. Да мало ли их приезжало в те годы из разных мест Союза? То была Людмила Михайловна Старицкая - Черняховская, дочь украинского драматурга, поэта, прозаика, общественного деятеля, одного из создателей национального украинского театра Михаила Петровича Старицкого. Потомок древнего казацкого рода он еще в молодости продал свое помещичье имение и все деньги вложил в профессиональную театральную труппу, впервые обеспечив материальную базу дотоле бродячему и неприкаянному украинскому актеру. А прогорев на этом деле, Старицкий вынужден был до конца своей жизни существовать на ненадежный заработок беллетриста. Людмила Михайловна и сама была талантливым литератором, тонким знатоком украинской истории, помощницей отцу в написании исторических романов и драм. Она оставила интересные и содержательные воспоминания о многих деятелях украинской культуры, многочисленные переводы, собственные исторические драмы, которые не были и не могли быть поставлены на советской сцене.

Теперь она стала уже осколком высококультурного слоя украинской интеллигенции — слоя очень тонкого (в Российской империи ему не давали развиваться) и потому легко уязвимого: в тридцатые годы он был уничтожен практически полностью; тех, кто пришел на место репрессированных, лишь условно можно назвать интеллигенцией и лишь условно — украинской.

Что же привело эту старую женщину в Томск? Поиски своей единственной дочери Вероники, поэтессы и переводчицы, унаследовавшей таланты матери и деда. В первый раз Вероника была арестована еще в 30-м году в возрасте тридцати лет. Неожиданно ее вскоре освободили, но арестовали мать и отца, известного ученого-медика А. Г. Черняховского. Супруги были привлечены по так называемому делу СВУ - Союза Визволения (освобождения) Украины. Сущность этого дела хорошо передает бытовавшая в то время на Украине поговорка: «Опера СВУ - музыка ГПУ». «Пролетарский суд» приговорил супругов к пяти годам заключения плюс три года поражения в правах. Однако вскоре, принимая во внимание преклонный возраст осужденных, их выпустили из тюрьмы, заменив заключение условным наказанием. Такие были либеральные» времена.

Но неуклонно надвигался тридцать седьмой год.

Из письма Л. М. Старицкой-Черняховской и А. Г. Черняховского:

«Товарищу Сталину... 8 -января 1938 года была арестована наша единственная дочь, гражданка Черняховская- Ганжа Вероника Александровна в г. Киеве органами НКВД. В настоящее время она приговорена к 10 годам со строгой изоляцией и пребывает в заключении по неизвестному нам адресу. Нам также неизвестно, какая судебная инстанция рассматривала дело нашей дочери, хотя мы неоднократно обращались с такими запросами. Твердо убежденные в том, что наша дочь не могла совершить контрреволюционное преступление, мы обращаемся к Вам, товарищ Сталин, и просим Вашего личного вмешательства в это дело... 11 апреля этого года тюремный прокурор тов. Коган по моей настоятельной просьбе, наконец, сообщил, что наша дочь выслана 22 ноября 1938 года в один из северо-восточных лагерей. В то же время у меня не взяли денег для передачи дочери в сентябре—октябре и ноябре. Несмотря не взяли

теплую одежду, которую принимали для всех, кто должен был быть выслан в далекие лагеря. Таким образом, нас лишили данного всем гражданам права, и наша дочь вынуждена была проехать всю Азию в трескучие морозы в коротеньком жакете. Мы лишены права знать, где она. Мы не знаем, перенесла ли она дорогу. Не знаем, жива ли она...»

Это письмо осталось без ответа.

Из заявления Старицкой Л. М., вдовы профессора, доктора медицинских наук Черняховского А. Г., на имя наркома внутренних дел Берии:

«В этом году 15 декабря вся Украина отмечает 100-летний юбилей со дня рождения моего отца М. П. Старицкого - известного писателя и общественного деятеля Украины. Ввиду заслуг моего отца - М. Старицкого, а также научных заслуг моего мужа — профессора, доктора медицинских наук А. Г. Черняховского, гистолога, известного как во всем нашем Союзе, так и за рубежом — руководитель большевиков Украины Н. С. Хрущев отнесся чрезвычайно внимательно и доброжелательно к моему ходатайству о пересмотре дела моей дочери — внучки М. П. Старицкого и Н. В. Лысенко (известного украинского композитора — Ю. П.) Черняховской - Ганжи Вероники Александровны, арестованной в г. Киеве органами НКВД 8 января 1938 г. и приговоренной... к 10 годам со строгой изоляцией.

Секретарь товарища Хрущева заявил мне, что помехой пересмотру дела моей дочери является то, что место ее заключения неизвестно, вследствие чего невозможно привезти ее в Киев с целью пересмотра дела. Они уже принимали и принимают меры для ее розыска, но безуспешно. Принимая во внимание то, что Вам подчинены все места заключения, я умоляю Вас дать соответственные распоряжения насчет выявления места ее пребывания и перевода в Киев для повторного расследования ее дела. Отправным пунктом для розыска может быть г. Томск, так как в июне 1939 г. мы получили от начальника одного из томских лагерей уведомление о том, что моя дочь... пребывает в заключении по адресу: Томск, п. я. 96, а 6 ноября того же года получили оповещение из психиатрической больницы г. Томска, что наша дочь отказывается принять посылку, отправленную по вышеназванному адресу. Считаю необходимым добавить, что получив оповещение... я немедленно выехала в Томск, но в больнице мне ответили, что больную уже выписали, а прокурор г. Томска, к которому я обратилась за разъяснением, сказал мне, что моя дочь выбыла по этапу в Нарымские или в Мариинские лагеря. В Мариинских лагерях ее не было, а в Нарым, в связи с зимним периодом, я поехать не могла. На этом мои сведения обрываются...»

Из воспоминания писателя Б. Д. Антоненко- Давыдовича:

«Неизвестно, за что арестовали ее единственную дочь красавицу Рону. До бедной матери дошел слух, что Рона не выдержала физических методов следствия и сошла с ума... И тут ее племяннице Ирине Стешенко пришла в голову мысль поехать в Москву и обратиться за советом к... Горожанину, который за успешно проведенную операцию с СВУ получил повышение. Едва не на ощупь нашла она в Москве дом чекистов и почти фантастическим способом узнала засекреченный номер квартиры. Пришла вечером, зная, что чекисты работают ночью, а днем отсыпаются. Позвонила. Дверь открыл сам Горожанин, которого Стешенко узнала по характерному чекистскому облику, тогда как Горожанин вытаращил глаза: что за незнакомая женщина пришла к нему и зачем? «Вы меня знаете со времени СВУ, когда я приходила к вам за разрешением на передачу»... Горожанин сразу вспомнил ее и весело засмеялся: «А, помню, помню! Опера СВУ, музыка ГПУ».

...Случилось дивное диво: этот суровый на процессе СВУ чекист с хищным выражением лица дал список женских политизоляторов СССР и

посоветовал по очереди посылать в каждый политизолятор продуктовую посылку; из которого политизолятора посылка не вернется назад, там и пребывает в заключении Вероника Старицкая-Черняховская.

Действительно, как оказалось вскоре, совет практически был полезен. Бросилась несчастная мать посылать посылки по списку Горожанина одну за другой. Вернулась посылка из одного политизолятора, вернулась из другого, а из третьего, Томского женского политизолятора, не вернулась. Туда, на край света, и бросилась она с большим узлом передачи, чтобы увидеть и обнять свою единственную любимую доченьку...

Но свидания матери не дали, потому что дочь лечится в психиатрическом отделе тюремной больницы, где свидания запрещены. Как ни просила и умоляла несчастная мать хотя бы показать ей через штору протянутую руку дочери, если нельзя повидаться, но и этого ей не позволили: категорически запрещено... Вернулась ни с чем Людмила Старицкая-Черняховская в Киев и стала посылать посылки в Томск, но все они не вернулись назад...»

Казалось бы, мы можем внести в число невольных гостей нашего города внуку известного украинского писателя. Но, нет! Мы не можем этого сделать. Потому что никогда Вероника не была в Томске, она не лечилась в Томской психиатрической больнице, она не сходила с ума, она вообще никогда не переезжала через Уральский хребет. По вполне официальным сведениям, которые стали известны совсем недавно, Вероника Александровна Черняховская - Ганжа согласно постановлению тройки при Киевском НКВД от 21 сентября 1938 года была расстреляна на следующий же день.

Вот так они забавлялись - люди "с чистыми руками, горячим сердцем и холодной головой». Разумеется, дело тут не в веселом настроении чекистов. Формула «десять лет без права переписки» или «со строгой изоляцией» скрывала немедленный расстрел. Тайна несколько облегчала чекистам дальнейшую работу: ведь последственные вели бы себя иначе, не имея никакой надежды на сохранение жизни. И кто бы еще стал разыскивать осужденного на десять лет в строгой изоляции? Кому бы еще это разрешили? Дело не только в необычайной стойкости матери, но и в покровительстве самого Хрущева. Вполне возможно, что Никита Сергеевич не был посвящен в профессиональную тайну чекистов. А их веселое настроение? Почему бы ему не быть? Ведь Ежова сменил Берия, я девятый вал самоуничтожения репрессивной машины уже прошел. Подавляющему большинству тех, кого он обошел стороной, не угрожало в будущем ничего, кроме неизбежной старости с персональной пенсией. Людмила Михайловна прожила недолго после своей поездки в Томск. В июле 41-го года, когда немцы стояли под стенами Киева, она была арестована вместе с сестрой Оксаной Стешенко, известной в свое время детской писательницей. Людмила Михайловна умерла в товарном вагоне; ее тело, по свидетельству выжившего попутчика, выбросили из вагона конвоиры.

В том же вагоне ехал тяжело больной семидесятилетний академик Ахатангел Крымский, всемирно признанный филолог, лингвист, востоковед, в молодости - известный украинский поэт. Он умер в том же сорок первом году и был принудительно забыт на Украине до 71-го года, когда ЮНЕСКО предложило отметить столетие со дня его рождения. На запрос ЮНЕСКО - куда делся А. Крымский, Киев ответил, что он умер в эвакуации. Так ведь и было.

Основным источником для автора послужила статья Юрия Хорунжего «Старицкие. Портреты в семейном интерьере», опубликованная в газете «Литературная Украина» от 13.12.90.

ЧТО ОСТАЛОСЬ ЗА " КАДРОМ"

В Репортаже о демонстрации ветеранов войны и труда 7 ноября в Томске, переданном по 11-му телевизионному каналу, прозвучала фраза: «Некоторые демократы допустили неуважение к демонстрантам, но те не поддались на провокацию» (не ручаюсь за дословность, но смысл передаю точно). Во избежание кривотолков считаю нужным рассказать, как все происходило.

Явным преувеличением является утверждение репортера о том, что у Камня Скорби собрались демократы. Траурную вахту здесь организовал только «Мемориал» - общество не политическое, а историко - проветительское и правозащитное, объединяющее людей с разными политическими взглядами. «Мемориал» пригласил к участию в траурной вахте все партии и организации, разделяющие те же моральные и гуманистические принципы. Отклика, к сожалению, не последовало. По-видимому, это явилось результатом плохого оповещения. Возможно также, что тех, к кому «Мемориал» обращался, не привлек немитинговый и неполитический характер мероприятия. К Камню Скорби на время подходили лишь некоторые отдельные участники демократического движения. Поэтому совершенно некорректно сопоставление в телерепортаже численности «ленинцев» и «демократов».

Под неуважением к демонстрантам репортер, очевидно, имеет в виду тот эпизод, показанный по телевидению, когда один мужчина преклонного возраста и сложной судьбы развернул по направлению к колонне, но весьма далеко от дороги, плакат «Коммунизм — варварство XX века». Согласен, что этот «незапланированный» организаторами вахты плакат мог быть оскорбительным для демонстрантов. Но нисколько не меньше, чем для участников траурной вахты плакаты с восхвалениями «дела Ленина» и пение «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Да, траурная вахта оказалась на пути демонстрантов. Что же делать? В конце концов маршрут колонны изменить легче, чем перенести Камень. А мимо таких мест принято проходить в молчании. Будем взаимно откровенны: демонстрантов оскорбил не столько плакат, сколько сам факт существования «вахтовиков». И с этим ничего не поделаешь. Мы существуем, потому что вы не сумели (и в любом случае не смогли бы) предать забвению ужасы и сталинского, и ленинского террора - скрыть правду о систематическом геноциде, проводимом большевистским руководством с первых лет захвата власти.

Что было дальше? К старику с плакатом подбежала молодая шустрая женщина, выставив перед ним свой. Ее плаката я не успел прочесть: движения женщины были слишком быстры, а текст — слишком бледен. В этот же момент из колонны раздался возглас с оскорблением в адрес людей, стоящих у Камня. Но, говоря словами телерепортера, демократы на провокацию не поддались. Затем от колонны отделились несколько решительных и твердых в своих коммунистических убеждениях людей, чтобы «выяснить отношения». Чисто словесно и достаточно культурно. Не найдя общего языка с оппонентами, полемисты удалились.

А теперь о самом интересном. Когда у памятника жертвам революции заканчивался митинг, к нам явился высокий милицейский чин, явно спутавший девяносто первый год с восемьдесят первым. С ним - несколько милиционеров и сильно возбужденная женщина. Мы так и не поняли, кто кого привел — милиция женщину или наоборот. Взынченный страж порядка развязным тоном, в духе совсем недавних времен, потребовал от собравшихся у Камня свернуть плакаты и разойтись. За полчаса до разрешенного горисполкомом срока окончания вахты. Тем временем за его спиной женщина, держа за руку

ребенка, осыпала присутствующих базарной бранью и выразила желание «поплясать» у Камня. У нее, видите ли, праздник, а мы скорбим о том, что в Октябре скинули царя. «Царя скинули в Феврале, - робко возразил я.

— Это по-старому в Феврале, а по-новому — в Октябре (!) — таким был ответ.

Милицию урезонили депутаты областного и городского Советов, попытались успокоить и женщину, но, видя, что это бесполезно, повернулись к ней спиной, после чего она, не умолкая, ушла. Вот и весь инцидент. Сообщаю так подробно отнюдь не ради его раздувания. Совсем напротив. Чтобы показать: столкновение разномыслящих в нашем городе не вышло далеко из приличествующих рамок. Неужто мы, наконец, становимся цивилизованными людьми? Но эпизод с женщиной, честно говоря, очень уж смахивал на попытку провокации. В ходе «мирной дискуссии» было высказано предположение, что у Камня собрались «капиталисты». Не считая зазорным любое, кроме криминального, предпринимательство, свидетельствую: биржевики, кооператоры, коммерсанты и близко к «Мемориалу» не подходят. Члены «Мемориала» живут на зарплату, скудную сегодня, как у всех, или на еще более скудную пенсию.

«Красное знамя» 19. 11. 1991 г.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБМАНА

Сотрудник Высшей юридической заочной школы А.Дугин обнаружил в 1990-м в Центральном государственном архиве Октябрьской революции ГУЛАГовский фонд и внезапно стал разглашать в печати тогда еще секретную статистику. Согласно ей, в конце 30-х годов не миллионы советских граждан пребывали в лагерях, а всего лишь 820881 человек (какая точность!). Из них по политическим обвинениям — 12,6 — 12,7 процента, то есть около 105 тысяч человек. Трудно поверить, что сам Дугин в азарте исследователя принял эти цифры за чистую монету. Да Бог с ним! Но какой восторг вызвали они в стане «новых коммунистов» и «русских патриотов» Они восприняли эти цифры как средство обеления милого их сердцу величайшего преступника всех времен и народов. Что там какие-то сто тысяч? Будто бы не могли они и вправду быть врагами народа! А если кто-то из них пострадал безвинно — экая важность! Лес рубят — щепки летят На что не пойдешь ради самого гуманного общественного строя! Да мы, способны и готовы ради него снова пролить кровь (чужую, разумеется).

Фантастические цифры, обнародованные Дугиным, вдохнули вторую жизнь в бредовую версию нашего " славного прошлого". Дескать, в 36-38 -м годах репрессиям подверглись почти исключительно коммунисты троцкистского или ленинского (ради Сталина можно пожертвовать и Лениным), в большинстве своем сами замешанные в преступлениях против народа, пресеченных твердой сталинской рукой.

Эта версия интересным образом перекликается с заявлением Хрущева на XX съезде. Теперь стало известно, что готовясь к своему докладу, он получил от тогдашнего председателя КГБ А. Шелепина справку, гласившую что с января 35-го по июнь 41-го за контрреволюционные преступления в СССР были репрессированы 19 млн. 840 тысяч человек, из них в течение первого после ареста года ликвидированы или погибли от пыток 7 млн. По- видимому, из всех официальных цифр эта наиболее близка к истинной. Однако на съезде Никита Сергеевич помянул не миллионы рабочих, крестьян и интеллигентов, а "десятки тысяч честных коммунистов". Но если только за 35-41-й годы уничтожено 19 млн., то с 17 по 35 -й могут набраться и 30-40 млн., то есть почти половина взрослого мужского населения.

Тогда легко ведь прийти к выводу, что враги народа - не репрессированные, а вдохновители репрессий, духовные предтечи сегодняшних "борцов" за социализм и "сильное государство".

Ведь 30-40 млн. - такого количества коммунистов никогда не было. И такого количества "буржуев" тоже. Кстати, согласно данным по Западно-Сибирскому краю, приведенным в книге «Репрессии 30-40-х годов в Томском крае» (выпущена томским «Мемориалом» в 1991 году, составитель И.Н.Кузнецов), пик репрессий приходится именно на 37-й год, доля коммунистов в общей массе репрессированных составляет один-два процента (!), а процент рабочих и крестьян по происхождению - 64. Большинство подвергшихся аресту и расстрелу в 37-м были репрессированы и ранее — в 20-х и в начале 30-х годов.

Чтобы показать, насколько можно доверять официальной советской статистике, приведу четыре документа из дела собственного отца, с которым недавно ознакомился. Отдаю должное УМБ РФ по Томской области, запросившему по моей просьбе его из Харькова. Дело это совершенно заурядное одно из множества подобных. Не буду отвлекать внимание читателя содержанием обвинения, его бездоказательностью, юридической несостоятельностью процесса. Все это уже стало общим местом. Но приводимые далее документы в своей совокупности любопытны и поучительны. Итак, документы из дела беспартийного инженера.

Документ 1.

Выписка из протокола 37 решение Народного Комиссариата Внутренних дел СССР, Генерального комиссара Госбезопасности т.Ежова Н.И. и Прокурора СССР Вышинского А.Я. от 4 февраля 1933 года.

Слушали: материалы по обвинению, представленному Управлением НКВД по Харьковской обл. в порядке приказа НКВД СССР № 00485 от 11.08.37.

Постановили: приговорить Паскаля Ивана Афанасьевича, 1901 г. рожд., уроженца села Большая Каракуба Старобешевского района Донецкой обл., грека, беспартийного, из крестьян, работавшего до ареста инженером-гидротехником Укргидроэнергопроекта в г.Харькове, к высшей мере наказания - расстрелу.

Нарком Внутренних дел СССР Генеральный комиссар госбезопасности Н.И.Ежов. Прокурор СССР А.Я.Вышинский.

Приговор был вынесен заочно. Отец в это время находился в харьковской тюрьме. Не знаю, был ли ему объявлен приговор, а если и был то какой. Ведь родным было устно сообщено нечто иное «Десять лет без права переписки»

Документ 2.

Акт 15 февраля 1938 г. г Харьков.

Мы, нижеподписавшиеся, комендант Харьковского Сблуправления НКВД Зеленый, военпрокурор Харьковского Военного округа, военюрист 1-го ранга Завьялов и ВРИД начальника тюрьмы УГБ Кашин, сего числа, сего числа в 23-24 на основании распоряжения начальника ХОУ НКВД майора госбезопасности Рейхмана от

15.02.38 привели в исполнение приговор над осужденным к высшей мере наказания — расстрелу Паскаль Иваном Афанасьевичем... о чем составили настоящий акт (подписи).

Документ 3.

Совершенно секретно. Заключение 20 февраля 1956 г., г. Харьков.

Я, зам. начальника учетно-архивного отдела УКГБ по Харьковской обл. капитан Кузьмин, рассмотрев поступившее заявление от гр-ки Паскаль Ольги Петровны о розыске мужа Паскаль Ивана Афанасьевича, арестованного в 1937 г. органами НКВД, нашел, что муж Паскаль Ольги Петровны Паскаль Иван Афанасьевич... осужден к высшей мере наказания, приговор исполнен 15 февраля 1938 г. Руководствуясь указанием КГБ при Совете Министров СССР № 108 с.с. от 24.08.55, полагал бы сообщить гр-ке Паскаль Ольге Петровне в устной форме о том, что ее муж Паскаль Иван Афанасьевич, находясь в заключении, 26.05.44 умер от эндокардита (подпись).

Интересно, что записка эта составлена по стандартной форме, типографски отпечатаны слова "я" " рассмотрев", " нашел, что", "полагал бы", ссылка на совершенно секретное указание. Большинство арестованных в одно время с отцом имели ту же судьбу. И в 56-м незадачливый капитан Кузьмин вместе со множеством своих коллег вынужден был по долгу службы сочинять дату и причину смерти давным - давно расстрелянных людей. Медицинская фантазия чекистов была весьма скудной. За несколько лет миллионы людей " вымерли" от трех- четырех благопристойных болезней.

Документ 4. УКГБ по Харьковской обл. № 6/1/1070 с.с. от 27.02.56. Начальнику 1 спец. отдела МВД СССР, г. Москва.

Просим произвести отметку в оперативной справочной картотеке на Паскаля Ивана Афанасьевича..., осужденного 4.02.38 Комиссией НКВД и Прокурора СССР к высшей мере наказания, о том, что, находясь в заключении, 26.05.44 умер от эндокардита, о чем нами объявлено его родственникам 25.02.56 (подпись).

Не подобной ли картотекой пользовался и А. Дугин? Если с легкостью сочинялись дата и причина смерти репрессированных, то что стоило сочинить и общее их количество? Советская статистика всегда отражала не то, что есть, а то, что нужно отразить.

"Томский вестник" 3.12. 1992 г.

ПАТРИОТИЗМ - НЕ ВЕРНОПОДДАНИЧЕСТВО

В любом словаре мы читаем: патриотизм - это любовь к Отчизне. Не буду тратить время на уточнение понятия "любовь" в данном контексте. Намного важнее - определить, что такое отчизна, ее физические и духовные границы. Из этимологии слов- синонимов "родина", "отчизна" следует, что это прежде всего та территория, на которой человек родился, - П а т р и я, страна отцов, то есть местность, в которой проживало какое-то количество поколений предков. Разумеется, территория не пустая, а населенная людьми, родными прежде всего по языку и культуре. Если выдвигать на первый план родство по происхождению, то легко сбиться на расизм. Разумеется, родина не только физическое пространство, но и духовное, таким духовным пространством является своя, родная культура и, стало быть, культура национальная. Внеациональной культуры нет и не может быть. Если мы признаем духовным пространством родины национальную культуру, то тем самым определяем патриотизм как патриотизм этнический, национальный. Тогда вносится ясность и в отношении физической границы родины. Эта граница этническая, которая,

впрочем, может быть весьма размытой и спорной. Нельзя сказать, что это общепринятое понимание патриотизма. Зачастую он жестко привязывается к государству. Я бы сказал: происходит подмена родины государством, а патриотизма - верноподданничеством. Я при этом не вкладываю негативный смысл в последнее слово: гражданин государства обязан быть верноподданным, хотя позволю себе сказать, не обязан любить государство. Если же кому-то такое словоупотребление не нравится, можно говорить о двух уровнях патриотизма: этническом и этатическом. Возможна еще одна подмена: государства - правящей властной структурой, патриотизма - низкопоклонством, или, что то же самое, - беззаветной преданностью партии и правительству. Такая подмена характерна для тоталитарного режима: она в достаточной мере себя дискредитировала, и о ней мы больше вспоминать не будем. Сосредоточим внимание на соотношении патриотизма и верноподданничества, патриотизма этнического и патриотизма этатического. Проще всего обстоит дело в мононациональном государстве. Это, конечно, идеализированная умозрительная конструкция, но некоторые реальные государства к ней приближаются, например, скандинавские государства, Республика Ирландия (без Ольстера) и др. Здесь этнос, нация и государство равны друг другу, патриотизм национальный равен патриотизму государства, хотя это по-прежнему не одно и то же, но духовные и физические пространства родины и государства совпадают. Проблем нет. Если же государство немононационально, то возникает большое разнообразие ситуаций. Поучительно было бы просмотреть все, но на это нужно много времени. Вкратце рассмотрю лишь некоторые, прежде чем обратиться к ситуации российской. а) Турецкий вариант (условно турецкий). Надо сделать Малую Азию мононациональной. Для этого вырезать армян, изгнать греков, отуречить курдов и лазов. Все будут турками, все будут турецкими патриотами. Эта программа по сей день не выполнена полностью - невозможно всех вырезать, изгнать и отуречить, но к этому можно и нужно стремиться. б) Швейцарский вариант. Отдельные разноплеменные общины в виде самоуправляемых кантонов объединяются в Швейцарский союз. Каждый швейцарец - патриот своего кантона, это даже не этнический, а более первобытный, близкий к племенному патриотизм. Но каждый швейцарец и патриот швейцарского государства. Каждый швейцарец сознает, что его кантон самоуправляем, лишь пока и поскольку он входит в Швейцарский союз. Достигается полная гармония между патриотизмом кантональным, патриотизмом этническим и патриотизмом государственным. в) Бельгийский вариант. Не добровольно, а в результате посленаполеоновского передела Европы германоязычные фламандцы и франкоязычные валлоны становятся верноподданными одного государя, бельгийского короля. Фламандцы остаются патриотами Фландрии, валлонцы - патриотами Валлонии, те и другие верноподданные Бельгийского королевства. Гармония совсем не та, что в Швейцарии. Ее омрачает языковой конфликт, который может в конечном счете привести к разводу. Но к разводу интеллигентному, цивилизованному (останется еще спор о Брюсселе). г) Австро - венгерский вариант, подобный предыдущему, но более сложный. В результате династических комбинаций почти без завоеваний складывается лоскутная монархия. Все - подданные Габсбургов, но австрийцы - австрийские патриоты, венгры - венгерские. Даже полякам Галиции в отличие от их соплеменников в Германии и России позволено быть польскими патриотами. С трудом, но в принципе могут быть украинскими патриотами и украинцы Галиции, Австро- венгерская монархия развалилась, но по крайней мере легко и безболезненно. Теперь перейдем к России, сначала к дореволюционной, царской. Здесь в принципе исключался какой-либо патриотизм, кроме русского. Даже патриотизм украинский или

грузинский, несмотря на то, что Украина и Грузия хотя бы номинально присоединялись добровольно, преследовался и именовался сепаратизмом (слово "национализм" еще не было в ходу). Что уж говорить о покоренных народах Кавказа, Туркестана, Сибири. Мононациональность Российской империи была совершенно недостижимым идеалом, однако методы, которые я выше назвал условно турецкими, применялись широко. Только в XIX столетии были принуждены к массовой эмиграции шепсуги (прибрежные черкесы) и крымские татары, наполовину истреблены и омуды, крупнейшее из туркменских племен, большие людские потери понесли многие горские народы Кавказа. Русификаторство было направлено в основном на славян, не без успеха на белорусов и украинцев, за двести лет вышло семь царских и правительственных указов о запрете украинского языка, При русификации поляков произошла осечка, это хорошо изображено в романе Стефана Жеромского с красноречивым названием "Сизифов труд". Официальный патриотизм базировался на трехчленной форме: "за веру, царя и отечество", иначе: православие, самодержавие, народность. Она якобы должна была консолидировать все население империи. Но речь шла о православной вере, о русском царе (хотя и немцу по крови), о великорусском отечестве. Совершенно откровенно высказывались черносотенцы (ультрапатриоты тех лет): "Племенные вопросы в России должны разрешаться сообразно готовности отдельной народности служить России и русскому народу в достижении общегосударственных задач (из Программы Русского собрания). Официальная точка зрения существенно не отличалась от этой формулировки. Тем самым нерусские национальности по существу лишались своей родины, а русское национальное сознание было отравлено и преобразовано в сознание имперское. При этом важно подчеркнуть, что большинство нерусских народностей вошло в состав империи в результате завоеваний, а действительно добровольные присоединения осуществлялись на договорной основе, условия же договоров немедленно нарушались русской стороной. Такая империя, в не меньшей мере, чем австро-венгерская, несла в самой себе зерно неизбежного распада. Империя действительно распалась в 17-18-х годах, но была со временем военным путем реанимирована большевиками. Поначалу большевики отрицали всякий национальный патриотизм, не делая исключения для русского. Пока была надежда на мировую революцию, большевики считали, что государственный патриотизм вполне может заменить интернациональная солидарность пролетариата. В тридцатые годы, когда надежды на солидарность пролетариата и на мировую революцию рухнули, большевики под названием советского стали возрождать русско-имперский патриотизм. К старым имперским мифам о якобы мирном соединении земель империи добавились новые. Упомяну концепцию "старшего брата"; концепцию абсурдную, поскольку великорусский этнос один из самых молодых на территории Советского Союза. Упомяну также, что те события, которые дореволюционные историки характеризовали откровенно как покорение, стали именоваться добровольными присоединениями, что не могло не ущемлять историческую память народов.

Чтобы окончательно избавиться от нерусского национального патриотизма, разрабатывалась концепция единой социалистической нации. Позже формулировка была смягчена до наднациональной общности - советского народа, На практике это означало русификаторство. Важно, конечно, не забывать, что русификация нерусских сопровождалась дерусификацией русских. Важным фактором дерусификации была подмена русского национального сознания имперским. Пролетарско-революционный мессианизм лег на готовую почву мессионизма имперского. Единая социалистическая нация

не состоялась, но продуктом всех усилий явилась многомиллионная маргинальная масса нерусских русскоязычных, то есть русифицированных, лишенных родной национальной культуры, но не воспринявших культуры русской, в то время разрушаемой также, как и все другие национальные культуры. Более того, сами русские в культурном плане все более становились русскоязычными. Люди, именующие себя национал-патриотами, громко кричат о дерусификации и не хотят слышать о русификации. Они не способны понять, что русификация нерусских и дерусификация русских неотделимы друг от друга, как орел и решка, А в том небольшом слое русской интеллигенции, который органически не мог принять в таком виде патриотизм, еще до революции развился национальный нигилизм. Поэтому в России не оказалось национально-демократических сил, сложилось уродливое противопоставление демократов и патриотов.

Духовное обновление русских возможно лишь на пути к национальному патриотизму, освободившемуся от мании имперского величия, от комплекса "старшего брата" и от патологических фобий. Возможно ли это - не знаю, не вижу и не слышу ничего обнадеживающего. Но любой иной путь - это путь - в никуда, вернее к глобальной катастрофе. Сегодня - в бывших республиках Союза возрожденный национальный патриотизм преобразуется в государственный, что сопровождается своими уродствами. Но это другая тема.

«Народная трибуна» 26.03. 1993 г.

ВАСИЛЬ СТУС

Вся его сознательная жизнь была восхождением на Голгофу. По костям «расстрелянного возрождения» Украины 20-х годов, послевоенных поэтов-повстанцев. Через такие физические и моральные мучения, перед которыми меркнут десять лет солдатчины Тараса Шевченко и медленное угасание в царской ссылке Павла Грабовского. Не обделил Бог Украину поэтами, но и на этом высоком фоне творчество Василя Стуса явило себя коротким, могучим всплеском. Как-то не принято называть великими современников, даже ушедших. Но мы отрываем взгляд от страницы, а тревожные, страстные, страшные строки продолжают звучать, и не повернется язык назвать Василя Стуса иначе, как великим поэтом нашего времени.

Быт советского заключенного и ссыльного не располагал к богатой жанровой палитре, к большим поэтическим формам: широкий тематический горизонт заслонила одна большая тема — но разве этим измеряется величие поэта? Одна большая тема — уж не лагерная ли? Нет, лагерь присутствует в виде тонкого бытового штришка, в виде уголка колымского пейзажа — и только. Поэтому скажем так тема духовного противостояния тоталитарному имперскому монстру. Не декларация противостояния, а само сопротивление духа — в каждой строчке, о чем бы она ни была Колымский зек обретает голос библейского пророка:

О, мой народ, когда тебе простится
предсмертный крик, горячая слеза
расстрелянных, замученных, убитых
на соловках, в сибирях, магаданах.
Держава полусвета, полутьмы,
ты вертишься, как гадина, отколе
тебя трясет неискупимый грех
и угрызенья совести тревожат.

Над пропастью безумствуй,
балансируй, все подступы к себе загороди,
но знаешь ты, что грешник
всепроклятый
сам от себя не может убежать.

Стус проник в сокровенные, дотоле не раскрытые тайники родной речи, органически совместил архаику с новообразованиями. В традиционные формы он влил необычайно емкий, многоплановый смысл. Он раскусил глубинное ядро языка — носителя исторической памяти и народного духа.

«Редко случается встретить человека такой цельности, такой одержимости, такой чистоты. Он принадлежал к тем, кто воспринимает идеи, моральные постулаты и принципы экзистенциально, строя свою жизнь по этим законам. Лицемерие, фальшь, насилие над мыслью он не принимал органически и реагировал на них неприкрыто, отбрасывая столь естественные для нас защитные реакции; Он был неспособен к компромиссам со своей совестью — даже к тем обычным, житейским, на которые, не замечая этого, идет каждый человек со здравым смыслом.

Такого «здорового смысла», такой житейской дипломатии он не признавал, напротив, всегда был внутренне готов к самосожжению;» (М. Коцюбинская).

Понятно, какая судьба ожидала такого человека в стране, «где так вольно дышит человек». Она его и не миновала. Василь Стус умер в Пермском лагере четвертого сентября 1985 года, во втором своем заключении. Первый арест состоялся в 72-м году, до этого в течение семи лет поэт на «воле» подвергался непрерывным гонениям

«Я боролся за демократизацию, а это оценили как попытку возвести клевету на советский строй, мою любовь к родному народу, обеспокоенность кризисным положением украинской культуры квалифицировали как национализм, мое непризнание практики, на почве которой выросли сталинизм, бериешчина и прочие подобные явления, определили как особо злостную клевету». (Из письма в Президиум Верховного Совета СССР 1 августа 76-го года).

«Я сразу понял, что Стус — националист, потому что он всегда говорил по-украински» — заявил на процессе один из свидетелей обвинения (попросту — стукач). И суд не одернул его. И сказано это было не где-нибудь, а на Украине. Вот воистину триумф сталинско-брежневской национальной политики формирования «единой советской нации», лишенной традиций и говорящей на ломаном русском! Высокое достоинство — человеческое и национальное — вот что раздражало лишенных такового «советских интернационалистов», вот чего не могли они простить поэту (даже после его смерти — оскверняя его могилу). Василь Стус сознавал, какую судьбу выбрал себе, но не мог жить иначе:

Ты испытай, как золото, на пробу
друзей, родных, любимых и детей:
пойдут ли через сто твоих смертей
тебе вослед?

От побоев, истязаний, от приобретенных в заключении болезней он умер уже после апреля 85-го. И не ждал скорого избавления:

Щедрует вам бессмертье щедрый
вечер

Отчизне новой — после многих проб
так не ропщите, если вам на лоб
поклал Господь свой светлый перст
разящий.

Это жесткая, жестокая поэзия. В ней
нет отрады, нет утешения . Есть заряд
стойкости:

«Наш единственный оптимизм — в
прямостоянии»,

« БЕДА ТАК ТЯЖКО ПИШЕТ МНОЮ, ТАК ТЯЖКО МНОЮ ПИШЕЬ БОЛЬ»

Четыре ветра полощат душу,
а в синей вазе полоска яра,
а в лютом вихре, водовороте
черно безумие качай-воды.
И над колчаном хвостами метлы,
стрел смертоносных оперенье:

зашелся в крике, в крови и мраке
вороноконный небосклон,
Новгородцы, новгородцы!
Дорогу плеть загородила,
а в синей вазе полоска яра,
как белый бисер — холодный пот.
О, белый свет, мой безголовый.
опречь опричнин—куда податься?
И небосклон косматый рвется
над берегами рыдай-реки.

* * *

На восход, на восход, на восход,
на восток, на восток!
Твое сердце в груди болит,
чертит в небе след, как болид,
Позади маячит во сне,
Украина — там,
вся в антоновом огне
на укор всем мирам.
А ты к ней от нее идешь
за край света в ночи,
небосвод — словно черный ковш
горькой горечи.
А ты к ней от нее идешь,
о, страстной к Украине путь,
на котором ты сам падешь
и друзья твои — тоже падут.

* * *

О, мой народ, когда тебе простится
предсмертный крик, горячая слеза
расстрелянных, замученных, убитых
на соловах, в сибирях, магаданах.
Держава полусвета, полутьмы,
ты вертишься, как гадина, отколе
тебя трясет неискупимый грех
и угрызенья совести тревожат.
Над пропастью безумствуй, балансируй,
все подступы к себе загороди,
но знаешь ты, что грешник всепроклятый
сам от себя не может убежать.
Безумие желанья, эта страсть
к перемещеньям — в рай из ада,
заглядыванье в смерть и эта жажда
растленного

весь белый свет растлить
и все терзать, терзать больную жертву,
чтоб вырвать у нее прощенья за свои
преступные деянья — все с избытком
отмечено на душах и хребтах.
Но жар слезы тебя испепелит,
но лютый крик раздастся над полями
и над лугами. Ты постигнешь вдруг
нещадную уничтожимость рода,
носительница гибели своей,
Судьба все видит, слышит, помнит
и сполна тебе воздаст.

* **

Людам, приговоренным к смерти,
выдали ружья
(исполнили их последнее желание).
И они стали расстреливать
других, приговоренных к смерти,
чтобы примириться
с собственной гибелью.

* * *

Боже, не благости — ярости,
дай нам не милость, а месть
стены тюремные разнести,
сети тугие расплесть.
Дай нам сердца воспаленные,
дай пламенеющий гнев,
дум факела разожженные
среди чужацких огней.
В страстном порыве пожаровом
вырвемся с ревом в полет,
глянь: разгорается зарево —
хоть и на смерть, а вперед!
Благословенна будь пуля та,

что поразит средь оков

плоть, чтоб ее не испытывать
пережиданьем веков..

Боже, расплаты отчаянной,
Боже, неистовой мсты,
яроستي необычайной
нам на все час отпусти.

Отчизна преданная сердце жжет
и в нем растет, наш угнетая дух;
доверясь ей, познайте жуть разрух
и пусть вас Бог, пусть Бог вас бережет.
Развеянные на шальном ветру,
как факела неудержимой боли
в неволе добывали себе волю,
ступив ногой на смертную черту.
Щедрует вам бессмертье щедрый вечер
в Отчизне новой — после многих проб,
так не ропщите, если вам на лоб
поклат Господь свой светлый перст разящий.

Последнее стихотворение звучит сегодня как сбывающееся предсказание. Дело тут не в особом провидческом даре. В похмелье застойных лет многие смутно ощущали, что добром это не кончится, что насквозь прогнившие опоры не удержат помпезный фасад (никто, конечно, не ожидал, что это произойдет так скоро), что тоталитарный имперский монстр сам себя убьет, но будет агонизировать долго, безобразно и зловонно. Поражает другое — поэтическая точность формулировок и полное бесстрашие — не перед властью, ее ли бояться человеку, «ступившему на смертную черту»? — а перед собой. Любовь Стуса к Украине и своему народу не имеет ничего общего с истерическим патриотизмом, бытующим и разгорающимся сегодня и в русском, и в украинском, и в иных национальных вариантах. «О, мой народ, когда тебе простится...» — истерический «патриот» скорее допустил бы, что его народ простит, если захочет, украинский — «москалям», а русский — евреям и прочим инородцам. «Отчизна преданная,..» — точнее я не сумел перевести. А в оригинале: «Зрадлива, зраджена Витчизна...» — «Отчизна, преданная и предающая...» - это нечто совсем иное. Стихи Стуса — отъявленно мужская, мужественная поэзия, абсолютно лишённая сентиментальности, которой немало грешили и грешат украинские поэты. Это — жесткая, жестокая поэзия. В ней нет отрады, успокоения. Есть высокий потенциал стойкости.

Alma Mater. 2.10. 1992 г.

«ВОКРУГ МЕНЯ МОГИЛЫ ДУШ»

В сентябре к скорбному юбилею — годовщине гибели замечательного украинского поэта правозащитника, узника ГУЛАГа Василя Стуса я перевел и опубликовал в «Альма Матер» несколько его стихотворений. Откровенно признаюсь, что это был мой первый опыт поэтического перевода и могу согласиться, что он уязвим для критики. Мною руководило желание поскорее донести до русского читателя

творчество большого поэта, борца и мученика. Однако расстаться с Василем Стусом я не смог и предлагаю вниманию читателя еще несколько своих переводов.

Некоторые стихи настолько пессимистичны (например, «Вокруг меня могилы душ»), что закрадывалось сомнение: стоит ли их показывать нам, возвращенным на соцреалистических, непременно оптимистических трагедиях? Разумеется, не все у Стуса столь же безысходно и, пожалуй, во всем его творчестве надежды больше, чем отчаяния. Но эти надежды смещены в неопределенно отдаленное будущее. Поэтому не надо натяжек—творчество это пессимистично. Но есть пессимизм растерянного обывателя, питающий безверие, покорность и пассивность. А есть еще пессимизм античного стоика, и он — более прочная, более надежная основа для мужества и стойкости, чем легковерие и прекраснодушие оптимиста. Так и у Стуса: «Вокруг меня могилы душ» соседствует с «Господи, гнева пречистого». Таким он был и в жизни.

О, край утраченный, явись
хотя бы в выбеленном сне,
лазурью ясной простелись
и мертвому пролейся мне!

Верни меня в забытый день,
росой живящей окропи,
укрой меня в благую тень
и тихо молви: горе, спи!..

Там солнца плещутся в озерах,
гогочут гуси у воды,
в далеких пережитых эрах
мои растаяли следы.

Где нивы синие в печали,
густое воронье лесов?
Рассвета тени пролетали
над радугою голосов...

Где шепот утренних молельниц,
где плеск крыла и шелест волн,
где сладкий запах, скрипы мельниц,

как грех, как память и как боль?

Где соловьев шальные трели,
жужжанье сонное шмелей?
Твои простерты руки белы
над безграничностью полей...

Где косы черны на рассвете,
разгоряченные уста,
где запах роз разносит ветер
и ты—грешна, и ты—свята?

Где та низина, та долина,

Озер прозрачное стекло,
где трепыхалась лебедья,
тугое изломав крыло?

Где сизых голубей полеты
и брызги радуги в крыле?
Минувшее, откликнись, где ты?
В каком осталось ты селе?

О, край утраченный, явись
хотя бы в выбеленном сне,
лазурью ясной простелись,

спаси, спаси ты душу мне.

Вокруг меня могилы душ
на белом кладбище народа.
Бреду в слезах. Не вижу брода.
Над вишнями летает хрущ.

Весна. И ночь. Сады цветут.
Темнеют на пригорке грабы.
.И звезды пьяные, как крабы
впились в небо там и тут.

Свеча горит. Горит поныне —
ужель не встречу, не найду
живую душу хоть одну
на всей великой Украине?

У тени призрачной, овальной
глаза лишь и безгубый рот,
и шепот: наш пропавший род—
заложник гибели поварьной.

Пришлось нам с жизнью разминуться

Мы не на тот ступили путь,
чтоб хоть во сне когда-нибудь
на первопуток свой вернуться.

Господи, гнева пречистого
молю—не прими за зло.
Где ни стану я—выстою.
Спасибо за то, что мало
время жизни. Его продлю
надеждой на много веков,
Печаль развеяв, тебя молю,
чтоб был я всегда таков,
каким меня , мать родила,

благославляя, на свет,
и благо, что не смогла
меня уберечь от бед.

Довольно крови! — воскликнул палач,
когда нож, вонзенный мне под ребра,
еще торчал в спине.
А, я подумал, корчась от боли:
Что, если он захочет
теперь лечить меня?

Alma Mater. 22.01. 1993г.